

Н. А. ГЕРЦЕН (ЗАХАРЬИНА)

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ

ВВЕДЕНИЕ. I. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ: 1. «ПЛАН АВТОБИОГРАФИИ». 2. ИЗ «ЗАПИСОК» 1848 ГОДА. II. ПИСЬМА Н. А. ГЕРЦЕН К Т. А. АСТРАКОВОЙ, Т. Н. ГРАНОВСКОМУ, М. К. РЕЙХЕЛЬ.

ПРИЛОЖЕНИЯ: I. ПИСЬМА К Н. А. ГЕРЦЕН: И. П. ГАЛАХОВА, М. Ф. КОРШ, С. Н. КЕТЧЕР. II. ОТКЛИКИ НА СМЕРТЬ Н. А. ГЕРЦЕН: ПИСЬМО М. Ф. КОРШ К ГЕРЦЕНУ

Статья и публикация Н. П. Анциферова

«... Глядя на твои письма, на портрет, думая о моих письмах <...> мне захотелось перешагнуть лет за сто и посмотреть, какая будет их участь <...> Останется ли в них сила их, их душа? Разбудят ли, согреют ли они чье сердце, расскажут ли нашу повесть, наши страдания, нашу любовь?»

Из письма Н. А. Герцен, процитированного в «Былом и думах» (XII, 442).

ВВЕДЕНИЕ

Наталия Александровна Герцен (урожденная Захарьина) была замечательной женщиной, принадлежавшей к поколению передовых русских людей сороковых годов. Известно, какую значительную роль она сыграла в жизни и творчестве Герцена.

Многие материалы из ее переписки и литературного наследия опубликованы. Начало этим публикациям положил сам Герцен, напечатанный в «Былом и думах» отрывки из писем Наталии Александровны к нему. Впоследствии большое количество ее писем к Герцену было опубликовано Е. С. Некрасовой в сборнике «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам» (М., 1897) и в томе VII Собрания сочинений Герцена, изд. Павленкова (СПб., 1905); выдержки из этих писем напечатаны Лемке в комментариях к письмам Герцена). В «Русских прописях» (т. I, М., 1915) были опубликованы ее дневник и письма к Н. А. Тучковой-Огаревой, в «Русской мысли» 1889 г. (№№ 5 и 6) — письма к Огареву и к Ю. Ф. Курруте, в «Русской старине» 1892 г. (№ 3) — письма к А. Г. Клиентовой. Письма Н. А. Герцен к П. В. Анненкову вошли в сборник «П. В. Анненков и его друзья» (СПб., 1892); выдержки из ее писем к Т. А. Астраковой приведены в воспоминаниях Т. П. Пассек «Из дальних лет» (изд. 2-е, СПб., 1905). Несколько писем Наталии Александровны к Гервегу опубликованы в переводе на английский язык Э. Карром в его книге: «The romantic exiles». London, 1933*.

Несмотря на обилие опубликованных материалов, жизнь и личность Н. А. Герцен, а также ее литературное наследие до настоящего времени оставались почти неизученными.

* В следующем (64) томе «Литературного наследства» будет дан обзор всех писем Н. А. Герцен к Гервегу, хранящихся в Британском музее и частично процитированных в книге Карра. Фотографии с них в настоящее время находятся в распоряжении редакции. — *Ред.*

Публикуемые ниже материалы из бумаг Н. А. Герцен, сохранившиеся в «пражской коллекции», в Отделе рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, в Колумбийском университете (США), а также напечатанные в парижском журнале «Русские записки», значительно восполняют и углубляют наше представление о личности и мировоззрении жены Герцена.

В публикуемых ниже документах можно выделить несколько наиболее значительных тем. Первая из них — отклики на революционные события 1848 г. в Италии и во Франции. В этих откликах многое созвучно написанному самим Герценом, но в то же время в них ярко выражена и своеобразная личность Н. А. Герцен. В ее письме к Астраковой от 23 июня 1848 г. мы находим приписку Герцена, сделанную неделю спустя — наиболее раннее и непосредственное его высказывание об июньских днях в Париже, которым он впоследствии уделит столько внимания в своем творчестве и которые оказали исключительно большое влияние на развитие его мировоззрения.

Вторая тема — отношение Н. А. Герцен и самого Герцена к их прежним московским друзьям. Отзвуки распада московского кружка сороковых годов, мотивы переоценки личных отношений, сложившихся раньше в этом кружке, звучат как в письмах Натальи Александровны, так и во многих письмах к ней. Как известно, в основе этой переоценки лежали глубокие идейные расхождения, которые Герцен подробно характеризовал в «Былом и думах».

Третья тема, материал для освещения которой дают публикуемые документы, касается изучения некоторых вопросов творчества самого Герцена и прежде всего изучения вопроса о соотношении созданных им в «Былом и думах» образов с их реальными прототипами, т. е. вопроса о герценовском мастерстве литературного портрета.

Особое значение приобретает вопрос о литературном портрете самой Н. А. Герцен, который постепенно, черта за чертой, вырисовывается на страницах «Былого и дум». Публикуемые материалы дают возможность для сопоставления созданного Герценом образа с тем, который возникает при ознакомлении с письмами Натальи Александровны, ее замыслами и письмами к ней.

Публикуемое в приложении письмо Серафимы Кетчер также дает ценный материал для сопоставления с литературным портретом этой женщины в «Былом и думах», для оценки реалистического мастерства автора этого портрета.

Как известно, значение Натальи Александровны в жизни Герцена было исключительно велико. До конца своих дней Герцен свято чтит ее память. В седьмую годовщину смерти жены Герцен писал сыну: «Вот я доживаю пятый десяток, но, веришь ли ты, что такой великой женщины я не видал. У нее ум и сердце, изящество форм и душевное благородство были неразрывны. А эта беспредельная любовь к вам... Да, это был высший идеал женщины!» (IX, 556).

Публикуя автобиографические документы и письма Н. А. Герцен, мы должны дать себе отчет, насколько можно довериться этим словам. Ответ на этот вопрос существенен не только для истинного понимания Натальи Александровны, но и для характеристики самого Герцена, так как его любовь к ней выражает и его самого.

Обратимся к высказываниям о Наталье Александровне выдающихся людей, лично знавших ее, столь различных, как Огарев, Белинский, Грановский, а также Бакунин и Анненков.

Для Огарева Герцены (муж и жена) представляли неразрывное единство. Он считал своего друга «Наташу» самой «изящной» женщиной из тех, кого он знал («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 378. Слово «изящный» в те времена употреблялось в смысле «прекрасный»).



Н. А. ГЕРЦЕН (ЗАХАРЬИНА)

Рисунок неизвестного художника с акварели, 1848 г.

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

В другом письме он признавался, что имел к ней «религиозное уважение и любовь» (там же, стр. 405).

Особый интерес представляют отзывы Белинского. В июне 1841 г. он писал В. П. Боткину о жене Герцена: «...Что это за женственное, благороднейшее создание, полное любви, кротости, нежности и тихой грации! И он стоит ее...» (В. Г. Б е л и н с к и й. Письма, т. II. СПб., 1914, стр. 251). После посещения Покровского-Засекина Белинский восхищался всем свободным строем жизни дома Герцена и обращением с гостями его жены. 15 октября 1843 г. он писал своей невесте М. В. Орловой о Наталье Александровне: «Эта женщина <...>, больная, низкого роста, худая, прекрасная, тихая, кроткая, с тоненьким голоском, но страшно энергичная: скажет тихо — и бык остановится с почтением, упрется рогами в землю перед этим кротким взглядом и тихим голосом <...> Она вывела бы вас из затруднительного положения и указала бы вашей совети большую дорогу» (там же, т. III, стр. 67—68). После встречи с Герценом в Москве Белинский писал жене 1 мая 1846 г.: «Наталья Александровна (к которой я питаю какое-то немножко восторженно-идеальное чувство) <...> так была мне рада, что я даже почувствовал к себе некоторое уважение. Вот как!» (там же, т. III, стр. 112).

Молодой Бакунин разделял всеобщее восхищение Н. А. Герцен. В июне 1840 г. он писал из Берлина сестрам Беер: «Герцен, а особенно жена его были моею отрадою в Петербурге; он — прекрасный, умный, благородный человек; а она — святое, любящее, истинно женственное существо. Я был дома с ними» (М. А. Б а к у н и н. Собр. соч. и писем, т. III. М., 1934, стр. 6). И Грановский, самый близкий в Москве друг Герцена (во время пребывания Огарева за границей), писал своей жене о Наталье Александровне: «Дорогою я, кажется, еще более полюбил ее» («Т. Н. Грановский и его переписка», т. II. М., 1897, стр. 259).

В эти отзывы и признания резким диссонансом врывается недоброжелательная характеристика Н. А. Герцен, данная А. Я. Панаевой. В своих известных «Воспоминаниях» она критикует жену Герцена за «слишком явное ее самомнение», за ее любовь к разговорам на возвышенные темы (стр. 147; М., 1948). Самолюбивая Панаева, привыкшая играть в обществе видную роль, питала недобрые чувства к Наталье Александровне, к которой все окружающие относились с искренним уважением. Однако Панаева правильно отметила, в тех же «Воспоминаниях», перемену отношения к Н. А. Герцен у некоторых членов кружка Герцена к концу сороковых годов.

Горячей защитницей Натальи Александровны была Т. А. Астракова, обычно столь требовательная к людям (см. ее воспоминания в записках Пассек «Из дальних лет», а также ниже, в настоящем томе, стр. 541—559).

Большое внимание Н. А. Герцен уделил в своих воспоминаниях П. В. Анненков, который бывал у Герцена в Москве и в Соколове в 1845 г. и в Париже в 1848 г., во время революционных событий. Анненков с большой симпатией отзывался о ней: «Жена Г<ерцена>, со своим мягким, едва слышным голоском, со своей ласковой и болезненной улыбкой, со всем своим детски-нежным, хрупким и страдающим видом, обладала еще страстностью характера, пламенным воображением и очень сильной волей...» (П. В. А н н е н к о в. Литературные воспоминания. М.—Л., 1928, стр. 401—402).

Итак, друзья Герцена отмечали в ней столь редко встречающееся в одном человеке сочетание хрупкости, нежности с энергией, страстностью и силой воли.

То особое место, которое принадлежало Наталье Александровне в жизни Герцена и в его творческой биографии, обязывает нас определить, что дают публикуемые материалы из ее архива для понимания ее

личности, а также для решения вопроса, насколько соответствует действительности ее образ, представленный Герценом в «Былом и думах». В связи с этим последним вопросом необходимо рассмотреть, как Герцен создавал ее образ в своей гениальной книге (эта тема до сих пор не привлекала внимания исследователей творчества Герцена).

«Былое и думы» Герцен посвятил Огареву; имя Натальи Александровны в посвящении не названо: «В этой книге всего больше говорится о двух личностях. Одной уже нет, ты еще остался, а потому тебе, друг, по праву принадлежит она» (XII, 3). На протяжении сотни страниц о Наталье Александровне нет упоминаний. Блестящий стиль «Былого и дум», легкость и яркость авторской речи, насыщенной мыслью, остроумие, сменяющееся то вспышками гнева, ненависти, то печалью раздумья, все это подчинено энергичному ритму герценовского повествования. И как-то совершенно неожиданно, как-то застенчиво проникает сюда иной мотив — мотив глубокого лиризма. Так, в главе VIII Герцен вспоминает о своих переговорах с обер-полицмейстером по поводу ареста Огарева. Внезапно рассказ обрывается:

«Но когда все небо заволочло серыми тучами, и длинная ночь ссылки и тюрьмы приближалась, светлый луч сошел на меня. Несколько слов глубокой симпатии, сказанные семнадцатилетней девушкой, которую я считал ребенком, воскресили меня. Первый раз в моем рассказе является женский образ... и, *собственно, один женский образ является во всей моей жизни* <курсив наш.— Н. А.>. Мимолетные, юные, весенние увлечения, волновавшие душу, побледнели, исчезли перед ним, как туманные картины; новых, других не пришло.

Мы встретились на кладбище. Она стояла, опершись на надгробный памятник, и говорила об Огареве, и грусть моя улеглась.

— До завтра,— сказала она и подала мне руку, улыбаясь сквозь слезы.

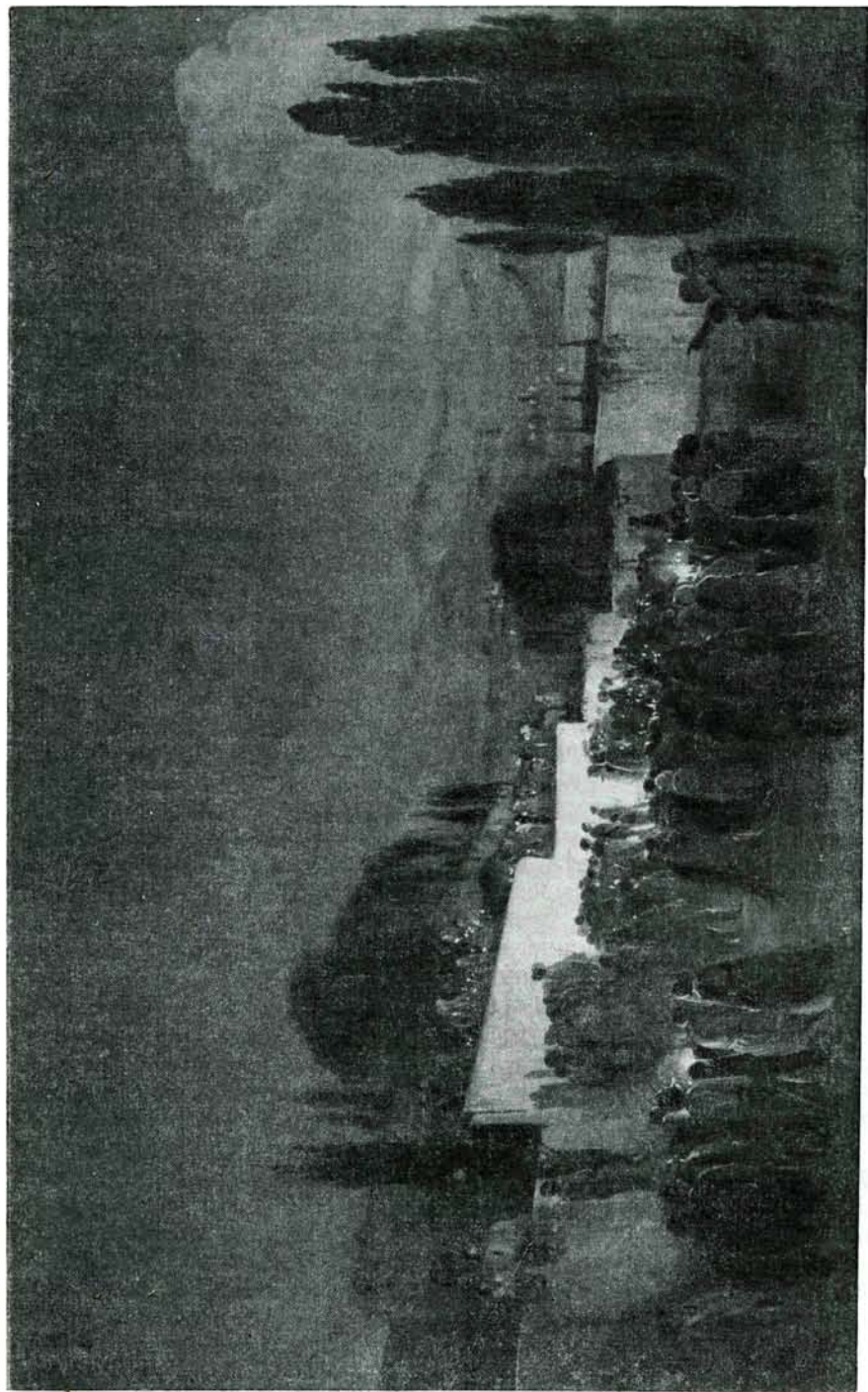
— До завтра!— ответил я... и долго смотрел вслед за исчезающим образом ее.

Это было девятнадцатого июля 1834» (XII, 202—203).

Последовал арест Герцена, заключение в Крутицких казармах, допросы, приговор. И пришел вновь день, память о котором Герцен сохранил на всю жизнь: «Еще бы раз увидеть мою юную утешительницу, пожать ей руку, как я пожал ей на кладбище... В ее лице хотел я проститься с былым и встретиться с будущим... Мы увиделись на несколько минут 9 апреля 1835 г., накануне моего отправления в ссылку. Долго святил я этот день в моей памяти, это — одно из счастливейших мгновений в моей жизни... Зачем же воспоминания об этом дне и обо всех светлых днях моего былого напоминают так много страшного?.. Могилу, венки из темнокрасных роз, двух детей, которых я держал за руки, факелы, толпу изгнанников, месяц, теплое море под горой, речь, которую я не понимал и которая резала мое сердце... Все прошло!» (XII, 238).

В том и другом отрывке всего лишь несколько строк. Как они отличаются от окружающего текста! Стремительный ритм повествования замедляется; одновременно он становится и торжественным и вместе с тем простым. Интонация сдержанно взволнованная. Не стилистический прием, эти многоточия, это повторное умолчание имени, эта вновь выделенная дата. Все это знаки того глубокого волнения, которое охватывало автора, когда он подходил к заветной теме своей личной жизни.

Так постепенно вплетался мотив любви в описание Герценом своего былого. В этих отрывках прекрасно выражено отношение Герцена к Наталье Александровне, ее значение для него, но здесь еще нет ее образа. Герцену как художнику трудно было создать ее портрет. Для этого нужно было смотреть со стороны, а он, «неразличнчато» связанный с ней,



ПОХОРОНЫ Н. А. ГЕРЦЕН

Картина маслом Ипполита Каффи, 1852 г.

«Православная коллекция»

Литературный музей, Москва

отойти от нее не мог. Образ Натальи Александровны создается в книге постепенно; Герцен накладывает черту за чертой, определяющие духовный и физический облик его жены.

Непосредственно к образу Н. А. Герцен он подошел лишь в третьей части — «Владимир-на-Клязьме». Он вспоминает «большие глаза, окаймленные темной полоской <...>, томную усталость и вечную грусть» двенадцатилетней девочки, отмеченной «особым знамением красоты и преждевременной думы» (XII, 421). Характеризуя ее душевный склад, Герцен прежде всего останавливается на условиях воспитания «сироты» в доме «грозной княгини» Хованской (так и в романе «Кто виноват?» он строил образ Любоньки, рисуя ее жизнь в доме генерала Негрова). Конкретнее становится этот образ при описании тайного свидания 3 марта 1838 г. «Она взшла вся в белом, ослепительно прекрасна; три года разлуки и вынесенная борьба окончили черты и выражение. „Это ты?“ — сказала она своим тихим, кротким голосом <...> Выражение счастья в ее глазах доходило до страдания» (XII, 461). При описании совместной жизни в «венчальном городе» Владимире Герцен отмечает полную гармонию их молодой жизни: «Мы сверяли наши думы и мечты и с удивлением видели, как бесконечно шло наше сочувствие...» (XII, 473). При этом он подчеркивает: «Natalie вносила в наш союз элемент тихий, кроткий, грациозный, элемент молодой девушки со всей поэзией любящей женщины...» (XII, 473).

В полном созвучии с образом Натальи Александровны в третьей части «Былого и дум» находятся ее письма к Герцену из Владимира в Петербург. Не раз цитировал он в «Былом и думах» письма своей жены, и они органически вплетались в канву его повествования, но писем владимирского периода он не приводил. Ограничимся одним примером, характеризующим Наталью Александровну и как жену и как мать: «Ах, Александр, — писала она Герцену 13 декабря 1839 г., — что будет из него <из сына. — Н. А.>. Нет, мы мало строги к себе, мы мало думаем о том, сколько лежит на нас... сколько внимания к его пище, а чем будет питаться его душа? О, мой друг! Мы так очищались, так приготавливались, чтобы достойными друг друга соединиться, тогда нам предстояло блаженство, счастье *только наше*, теперь смотри — то, что мы должны приготавливать, вплетается в человечество и с ним будет бесконечно» (Сб. «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам», М., 1897, стр. 84).

Это сознание ответственности родителей за духовную жизнь детей, которых они должны подготовить для родины, Наталья Александровна пронесла через всю жизнь. Перед смертью она писала М. К. Рейхель: «На них я надеюсь, на детей, на них *так ясна печать истинности и полноты этого союза* <союза их родителей. — Н. А.>. И с ней они не погибнут...» («Лит. наследство», т. 61, 1953, стр. 321).

После «Владимира на Клязьме» в «Былом и думах» образ Натальи Александровны отступает на второй план. Лишь в «Grübeleien» (глава XXVIII) Герцен возвращается к развитию ее образа. Здесь описан кризис, пережитый Натальей Александровной в середине сороковых годов в связи с утратой верования в «заветные святыни». По дошедшим до нас источникам трудно судить, насколько взгляды, складывавшиеся под воздействием Герцена, под влиянием материалистических идей, которые он развивал в эти годы в статьях «О дилетантизме в науке» и в «Письмах об изучении природы», переродили Наталью Александровну. Возможно, что она до конца хранила в душе пережитки былой экзальтированной религиозности. Намек на это можно найти у Герцена. По поводу душевного состояния своей жены после июньских дней он писал: «...не воспоминания девичьих слез и христианского романтизма всплыли еще раз надо всем в душе Natalie...» (XIII, 486). Следовательно, они

еще *могли* «всплывать надо всем». Герцен связывал этот кризис и с потрясением в личной жизни, которое получило такое взволнованное отражение в его «Дневнике»: «Грустно сосредоточивалась Natalie больше и больше, — вера ее в меня поколебалась, идол был разрушен» (XIII, 88). Вновь сопоставим слова Герцена с признаниями его жены. Она писала 2 октября 1846 г.: «Да, Александр, и романтизм отлетел <...>, это не время идолопоклонства, — все это давно там, позади; не вижу ни пьедестала, на котором ты стоял, ни сияния около главы твоей... Но вижу ясно и чувствую глубоко то, что я ужасно много люблю тебя, что этой любовью полно все существо мое, что из нее состоит оно, что она — плоть моя» (ЛБ, Г.—О. IX, 201). Это «освобождение» от религиозных верований и от романтизма помогло Наталье Александровне в «соколовских спорах» с Грановским и его друзьями стать на сторону Герцена и Огарева.

Далее в «Былом и думах» образ Натальи Александровны вырисовывается на фоне Парижа 1848 года. Ее письма того времени, публикуемые нами, дают возможность показать, насколько в этом отношении верно, реалистически правдиво Герцен обрисовал ее в «Былом и думах», охваченную гневом против усмирителей, скорбью о погибших иллюзиях. В связи с этой трагедией «общего» Герцен писал и о «личном»; вновь описывал Наталью Александровну-мать, содрогающуюся при мысли о судьбе детей в этом страшном мире.

В пятой части «Былого и дум» Герцен описал свою семейную драму — увлечение его жены «зловещей птицей», поэтом Гервегом, гибель своей матери и сына Коли, смерть Натальи Александровны. Эта часть была издана лишь в 1919 г. Тургенев читал ее в рукописи. Про эти страницы он сказал, что «все это написано слезами, кровью: это — горит и жжет» (И. С. Т у р г е н е в. Собр. соч., т. 11. М., 1949, стр. 306). Глава «Летом» (V часть «Былого и дум») посвящена «святому времени примирения», тем дням, которыми «торжественно заключилась» его «личная жизнь» (XIII, 534—535). Рисуя внешний облик Натальи Александровны в вечер свидания в Турине, Герцен писал: «...и при первом свидании нашем, когда я приезжал из ссылки, она была также вся в белом, и венчальное платье было белое. Даже лицо ее, носившее резкие следы глубоких потрясений, забот, дум и страданий, напоминало выражением черты того времени» (XIII, 533).

Так Герцен по-своему связывал «концы и начала». Смерть ее он описал как «апофеоз умирающей матери» (XIII, 556). Герцен постоянно посещал могилу жены и требовал, чтобы дети его чттили память своей матери и заботились о ее могиле. После одного из посещений он писал: «Она не тут; здесь ее нет, — она жива во мне» (XIII, 571).

В созданном Герценом образе Натальи Александровны правда жизни и правда художественного создания не противоречат друг другу.

О пройденном жизненном пути Герцен писал в своем обращении к «Братьям на Руси»: «Прошедшее живо во мне, я его продолжаю, я не хочу его заключить, а хочу говорить, потому что я один могу свидетельствовать об нем» (VII, 155). И Герцен сумел рассказать историю «двух жизней, с ужасным богатством счастья и бедствий» (VII, 156).

Когда Тургенев прочитал воспоминания Герцена, он писал ему 16 января 1857 г.: «Впечатление было сильное и хорошее: в этих главах чрезвычайно много поэзии и юности, лицо твоей жены <...> привлекательно и живо, отрывки из ее писем дают понятие о замечательной натуре» (И. С. Т у р г е н е в. Собр. соч., т. 11, М., 1949, стр. 165). Публикуемые нами материалы значительно углубляют и расширяют «понятие о замечательной натуре» жены Герцена. А сильный, яркий язык печатаемых записок и писем Н. А. Герцен дает представление о ее незаурядном литературном таланте.

I. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. «ПЛАН АВТОБИОГРАФИИ»

«План автобиографии», написанный Натальей Александровной в последние годы ее жизни, печатается по публикации в журнале «Русские записки» (Париж, 1939, XIV, стр. 118—119). О ее желании написать свои воспоминания Герцен писал в «Былом и думах»: «...Мысль, несколько раз прежде мелькавшая у Natalie, занимала ее теперь <в 1851 г./ больше и больше: она хотела написать свою исповедь. Она была недовольна ее началом, жгла листки; одно *длинное письмо* и одна *страничка* <курсив наш. — Н. А.> уцелели... По ним можно судить о том, что пропало <...> В этих строках можно было уловить, как мучительная борьба переходила в новый закал и боль — в мысль» (XIII, 535).

Какое «длинное письмо» Герцен имел в виду, мы не знаем. Что же касается названной им «странички», то мы можем с уверенностью считать, что это и был публикуемый нами сейчас «План автобиографии». В «Былом и думах», описывая детство Натальи Александровны в доме княгини Хованской, он использовал отдельные слова и выражения из этого плана: «*Кругом было старое, дурное, голодное, мертвое, ложное; мое воспитание началось с упреков и оскорблений, вследствие этого — отчуждение от всех людей, недоверчивость к их ласкам, отвержение от их участия, углубление в самое себя...*» (XII, 420. — Курсивом выделены заимствования из «Плана»).

Герцен утверждал, что мысль писать о своем былом мелькала у его жены не раз (XIII, 535). Впервые эту мысль подсказал ей он сам. Об этом она писала еще во Владимир 22 марта 1838 г.: «Ты хочешь, чтоб и я написала мою жизнь и 9 апреля, — хорошо, я расскажу ее тебе в особых письмах <...> Но письма — не иначе, потому что *иначе* я писать не могу. Помню и детство мое до 8 лет, в эти 8 лет я испила все, что может быть сладкое и горькое в этот возраст, и ярко воспоминание того и другого, удивительно ярко. Я опишу тебе малейшие подробности с первого воспоминания, покажу тебе твою Наташу 4-х лет и жизнь 4-хлетней Наташи, счастливейшего ребенка в мире, а потом... но вот увидишь там» (А. И. Герцен. Соч. и переписка с Н. А. Захарьиной, т. VII. СПб., 1905, стр. 530). В своем «Дневнике» она также упоминала о намерении написать воспоминания («Русские прописки», т. I, стр. 233). Тогда же, в 1838 г., Наталья Александровна записала несколько эпизодов из своей жизни — об этом она сообщала Герцену в письме от 31 марта 1838 г. (там же, стр. 544—545).

Публикуемый «План автобиографии» является глубоко волнующим документом. В его лаконичных рубриках раскрывается богатая внутренним содержанием, полная драматизма жизнь человека, сумевшего в тяжелых условиях противостоять домашнему деспотизму, окружающей лжи и лицемерию. Этому посвящены первые разделы «плана», который начинается с того времени, когда «сирота» была взята на воспитание «грозной княгиней». О своей жизни в доме Хованской Наталья Александровна писала Герцену 31 января 1838 г.: «...Первый год, как *они* взяли меня, все меня ужасало, но раз княгиня что-то сказала слишком, я бегу к Саше Вырлиной (с первой минуты моего *взятия* у меня никого не было, кроме ее в их доме), в слезах прощаюсь с ней. „Куда вы?“ — „Прощай, бегу, не могу привыкнуть у вас, не могу переносить“. Было лето, ясный день, и я хотела (помню очень) идти в дом папеньки и там просить, чтобы меня отвезли в Шацк» (куда была отправлена ее мать Аксинья Ивановна; там же, стр. 445).

О «стыде» своего «рождения» глухо писал и Герцен во второй главе «Былого и дум» (XII, 28). Это сознание оторванности от рода пробудило в них обоих сознание свободы от семейных традиций. «Герцен прошедшего не имеет. Герценов только двое: Наталия и Александр...», — писал Герцен 21 января 1838 г. (II, 29). И несколько позднее, 13 февраля: «Мы жертвы искупления всей *их* фамилии, и наши страдания смоют их пятна...» (II, 81). В ответ Наталья Александровна писала, что они потребуют «*всего* от самих себя, ничего от других». В этих словах сказана та скрытая сила, которую ощущали современники в хрупкой Наталье Александровне.



А. И. ЗАХАРЬИНА (ФРОЛОВА?), МАТЬ Н. А. ГЕРЦЕН

Миниатюра на слоновой кости неизвестного художника, 1810-е гг.,

Литературный музей, Москва

Далее в «плане» выражено то мучительное сознание «противоположности слов и действий», о котором она много раз писала. Она отмечает дисгармонию и в области религиозной жизни — противопоставление «скуки в церкви» «своему образу религиозности» и «боготворению природы». После слов: «Увелич(ение) симпатии к А(лександру)». Его взятие — стоит: «Боготворение А(лександра)». Действительно, в письмах Захарьиной ярко отражено это «боготворение» Герцена. Ограничимся одним примером из письма от 21 сентября 1836 г.: «Твой образ должен сохраниться на земле, пока она будет существовать; имя твое должно звучать до тех пор, пока голос человеческий будет слышен...» (А. И. Герцен. Соч. и переписка с Н. А. Захарьиной, лит. изд., стр. 143).

Если первые разделы «плана» посвящены уже известным по прежним публикациям условиям жизни Натальи Александровны, то последние его разделы бросают новый яркий свет на ее личность и мировоззрение. Борьба с «дисгармонией» окружающей жизни, ее преодоление привели Наталью Александровну к глубокой идее, которую она определила формулой: «Любовь к человечеству, сквозь все личное». Эта идея, родившаяся у нее под влиянием Герцена (а также Огарева), раскрыла перед ней новый смысл жизни: «Преданность идее революции. Свобода». В эти краткие

рубрики вложено богатое содержание, которое раскрывается в публикуемых ниже ее «Записках» 1848 года и в письмах к Т. А. Астраковой. Эти документы свидетельствуют о том, как она была захвачена во время путешествия в Италию бурной атмосферой национально-освободительного подъема, с каким ликованием она откликнулась на революционные события в Париже.

Глубоким трагизмом звучат последние рубрики «плана», следующие непосредственно за словом «Свобода»: «Отчаяние.— Пустота.— Усталость.— Одиночество». После подъема — крушение всех иллюзий, утрата веры и близкое обновление мира. Заключительное слово — «Одиночество» — заставляет по-новому осмыслить ее жизнь после 1848 г.: очевидно все, что она и Герцен пережили в грозные июньские дни, заставило каждого из них замкнуться в себе, и это привело на какое-то время к одиночеству, заменившему прежнюю духовную близость и гармонию.

Публикуемые ниже «Записки» 1848 года и письмо к Грановскому в значительной мере раскрывают то, что скрыто за последними рубриками «плана». Это душевное состояние и могло побудить ее обратиться к своему прошлому, подвести итог закончившемуся этапу своей жизни. На этом основании мы можем датировать «план» 1849—1850 гг.

Вместе с тем это душевное состояние привело Наталью Александровну в дальнейшем к «страшной ошибке», допустившей ее «увлечься в фантастический мир, блуждать в нем и чуть не погубить себя» и все то, что она любила (письмо к М. К. Рейхель от середины марта 1852 г. — «Лит. наследство», т. 61, 1953, стр. 321).

1. Как в лесу, пойманный зверек. Кругом старое, дурное, холодное, мертвое, ложное. Одно существо привлекает — Саша.

Воспитанье началось с того, что меня убедили в стыде моего рожденья, моего существования, вследствие этого — отчуждение от всех людей,



М. А. ХОВАНСКАЯ

Миниатюра на слоновой кости неизвестного художника, 1810-е гг.

Литературный музей, Москва

А. А. ЯКОВЛЕВ (ОТЕЦ Н. А. ГЕРЦЕН)

Портрет маслом неизвестного художника, 1790-е гг.

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград



недоверчивость к их ласкам, *отвращенье* от их участия, углубленье в самое себя, требованье *всего* от самое себя.

2. Ничего от других. Начало борьбы внутренней: *долг* любить и верить благодетелям и *невозможность* этого. Удивление от противоположности слов и действий: мне — грех есть до обеда, ей не грех просфорой напиться.

Обращенье со слугами, с бедными людьми, ложь со знакомыми.

3. Скука в церкви и за молитвой. Свой образ религиозности, молиться на небо по ночам, а вместо молитвы читать — шалить. Намеренье убежать, беспрестанная грусть. Равнодушие ко всему, клятва, данная *«с»* Сашей друг другу, желание смерти.

Александр. Чтение ур^{«оков»} ур^{«ывками?»}. Стыд моего невежества.

4. Евангелье. Боготворение природы. Увелич^{«ение»} симпатии к А^{«лександр»}. Его взятие. Боготворение А^{«лександр»}. Брак по любви.

5. Женитьба Огарева, вера в его жену. Мы четверо — одно.

Принуждение идти замуж. — 3-е марта. — 8-е мая. — Детская жизнь. — Саша. — Свидание с Огаревым. — Расстройство здоровья. — Неудовлетворенность жизнью. — Друзья. — Любовь к человечеству, сквозь все личное. — Путешествие. — Преданность идее революции. — Свобода. — Отчаянье. — Пустота. — Усталость. — Одиночество.

2. ИЗ «ЗАПИСОК» 1848 ГОДА

Этот условно озаглавленный нами документ печатается по фотоконии с подлинника, хранящегося в Колумбийском университете (США). В публикации «Русских записок» (Париж, 1939, XIV, стр. 108—114) документ воспроизведен в качестве письма Н. А. Герцен к Т. А. Астраковой. Но в нем

отсутствует обращение к адресату и вообще нет никаких следов эпистолярной формы. Это — разговор с собой, раздумья о пережитом. Отчасти эти записи напоминают дневник, и их, пожалуй, можно рассматривать как продолжение московского дневника Натальи Александровны, который она вела в конце 1846 г. (см. «Русские пропилеи», т. I. М., 1915). Но в них нет и характерных элементов дневника: дат отдельных записей, рассказа о конкретных событиях прошедшего дня. Учитывая сказанное, мы определяем жанр публикуемого документа как «Записки».

В этих «Записках» с большой силой запечатлены переживания Натальи Александровны, вызванные революционным подъемом 1848 г. и затем разгромом восстания парижского пролетариата в июньские дни.

Начав «Записки» с воспоминаний о «страшной дисгармонии», которая еще с детства раздирала ее душу, она противопоставляет этому мрачному прошлому радостное предчувствие «гармонии». Наступающее «время всемирной перестройки» воспринимается ею как «море единодушия, свободы», волнам которого она с упоением отдается. «Записки» показывают, насколько точной и искренней была ее фраза в «Плане автобиографии» о «преданности идее революции».

Потрясенная июньской бойней, Наталья Александровна вновь сознает себя в отрыве от общественной жизни, в ней вновь возникает острое чувство дисгармонии. Окружающий мир с «кровавым следом» стал ей отвратителен. Ее описания собраний в доме Герцена при свете одной свечи, с беседами шопотом, в те часы, когда расстреливали повстанцев, заставляют вспомнить строки Герцена: «Вечером 26 июня мы услышали <...> правильные залпы с небольшими расстановками... Мы все взглянули друг на друга, у всех лица были зеленые... „Ведь это расстреливают“, — сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга. Я прижал лоб к стеклу окна. За такие минуты ненавижу десять лет, мстят всю жизнь. *Горе тем, кто прощает такие минуты*» (XIII, 484—485).

Как потрясена была Наталья Александровна свирепым подавлением восстания рабочих, до какого отчаяния она была доведена — лучше всего свидетельствуют ее слова: «Были минуты, в которые я желала быть уничтожена *со всей семьей*». Эти слова находят объяснение в выдержках из письма Натальи Александровны к Н. А. Тучковой, включенных Герценом в главу «1848» «Былого и дум»: «Я смотрю на детей и плачу; мне становится страшно; я не смею больше желать, *чтоб они были живы*: может, и их ждет такая же страшная, ужасная доля» (XIII, 486). Герцен тут же пояснил эти мысли своей жены: «Как много надобно было проработать, чтоб мысль эта могла явиться в сердце матери, страстно любившей детей, и насколько больше, чтобы найти силу высказать ее, да еще письменно» (А. И. Герцен. Былое и думы. Л., 1947, стр. 467).

Наталья Александровна обладала чувством исключительной ответственности за судьбу своих детей. Н. А. Тучковой, своей «Консуэле», она писала 21 декабря 1848 г.: «...Мне иногда так страшно становится глядя на своих детей — что за смелость, что за дерзость сделать новое существо, *заставить* его жить и не иметь ничего, ничего для того, чтоб сделать жизнь его счастливою...» («Русские пропилеи», цит. изд., стр. 256).

Материнская любовь подчиняется у Натальи Александровны великому чувству любви к свободе и человечеству. Она возвышается до подлинного трагического пафоса в напутствии своему первенцу Александру: «А там, может быть, ты дойдешь до гильотины твоим шагом, мой милый Саша, — иди, иди лишь своим шагом, твой след будет — свобода; она переживет гильотину, и ты не умрешь в ней. Свобода! Я, кажется, люблю тебя более детей моих». Нельзя не сопоставить с этими словами другие

слова, сказанные Герценом в знаменитом посвящении книги «С того берега» сыну: «Лучше с революцией погибнуть, нежели спастись в богдельные реакции» (V, 382).

■ В «Записках» Натальи Александровны мы, естественно, не найдем такого глубокого политического и социального анализа пережитых событий, как в произведениях Герцена. Она сосредоточивает свое внимание на выяснении возможного значения этих событий в будущих судьбах детей, как ее собственных, так и чужих. Но отход ее в личную жизнь был



ПАРК В ЗАГОРЬЕ, ИМЕНИИ М. А. ХОВАНСКОЙ, ГДЕ Н. А. ЗАХАРЬИНА ОБЫЧНО ПРОВОДИЛА ЛЕТО

Фотография 1937 г.

Литературный музей, Москва

«Прелестное местоположение... Рано утром я встаю, отправляюсь гулять, из родника пью воду и хожу по аллеям» (Из письма Н. А. Захарьиной к Герцену, Загорье, 26 июня 1835 г.)

иним, чем у Герцена, который, «удаляясь от трескучей деятельности больших городов» в тогда еще «тихую» Ниццу (VI, 108, 109), продолжал борьбу с «одряхлевшим миром» своими «Письмами из Франции», размышляя о союзе крестьян с рабочими, как о важнейшей основе «настоящей революции народных масс». В тринадцатом «Письме из Франции», 1 июня 1851 г., Герцен писал: «Но революция не остановилась. Вместо неосторожных попыток и заговоров, работник думает крепкую думу и ищет связи не с цеховыми революционерами, не с редакторами журналов, а с *крестьянами*... В груди крестьянина собирается тяжелая буря <...>, он <...> слушает работника. Когда он его дослушает и хорошенько поймет <...> тогда он сочтет свои силы, а потом сметет с лица земли старое общественное устройство. И это будет настоящая революция народных масс» (VI, 124).

Такого предвидения грядущего хода истории у Натальи Александровны, конечно, не было. Но она разделяла мысли мужа о том, что капиталистический строй изжил себя, и хотела по-своему участвовать в разрушении старого. Она писала Н. А. Тучковой 17 октября 1848 г.: «Старое здание все приближается более и более к разрушению, искусственные подпорки недолго поддержат его; камни падают вокруг, иные совсем превратились в песок и сыпятся... Не только жить, даже участвовать в создании нового нам не удастся, ну хоть помогать разрушенью старого!..» («Русские пропилеи», цит. изд., стр. 251).

Думая о пройденном ею пути духовного развития, она подводила итоги: «Все имеет время экзальтации и время разумного сознания» (там же, стр. 247).

27 января 1849 г. она писала Н. А. Тучковой: «Чему мы поверили, что мы приняли существенным, то было только пророчество очень раннее» (там же, стр. 262). Наталья Александровна сохранила веру в конечное торжество революции и хотела воспитать своего сына, как это явствует из ее письма к Грановскому, как революционного борца, обрекая его в будущем на тяжелый путь борьбы со старым миром. Ее «Marchons! Marchons!»* перекликается со знаменитым девизом Герцена «Semper in motu»**.

Наталье Александровне не пришлось участвовать в разрушении старого, тем более в созидании нового: жизнь ее близилась к концу. Герцен, пережив тяжелую семейную драму, обратил свои взоры к России, и его могучий талант публициста помог ему участвовать в разрушении старого и тем самым содействовать созданию нового.

Последние записи говорят об уходе Натальи Александровны в личную жизнь, которую она называла в письме к Н. А. Тучковой в 1848 г. «многоцветной» («Русские пропилеи», цит. изд., стр. 246). «Дома у меня хорошо...» (8 октября 1848 г., там же, стр. 252). Но найти только в своем «личном» успокоение, удовлетворение она не могла. «Что личное счастье, богатство, истина жизни личной, ведь общее, как воздух, охватывает тебя, а этот воздух исполнен только предсмертным, заразительным дыханием» (27 января 1849 г.).

Был ли Герцен знаком с этими «Записками»? Дать точный ответ на этот вопрос нельзя. В «Былом и думах» он нигде их не цитирует. Однако, характеризуя душевный надрыв, который пережила Наталья Александровна после краха так ярко расцветших надежд, Герцен с чутким пониманием описал его в «Былом и думах»: «...Скорбь истинная, тяжелая, не по женским плечам. Живой интерес Natalie к общему не охладел, он сделался *живою болью*. Это было сокрушение сестры, материнский плач на печальном поле только что миновавшей битвы» (XIII, 486).

Эту «скорбь истинную, тяжелую», эту *живую боль* мы ощущаем в каждой строчке ее «Записок».

Герцен правильно отметил, что хотя Наталья Александровна и говорила о своем равнодушии ко всему происходящему, в ней «не охладел» интерес к общественной борьбе. Замечательны ее слова о своем мнимом равнодушии: «...мне самой становится страшно этого равнодушия, и если бы под его светлой, гладкой поверхностью не таился целый вулкан, готовый пересоздать весь мир или уничтожить все и, прежде всего, самое меня, — я презирала б себя».

Эти «Записки», этот своеобразный дневник и содержанием и формой несколько напоминает статьи Герцена «С того берега». Это тоже «с того берега» его жены.

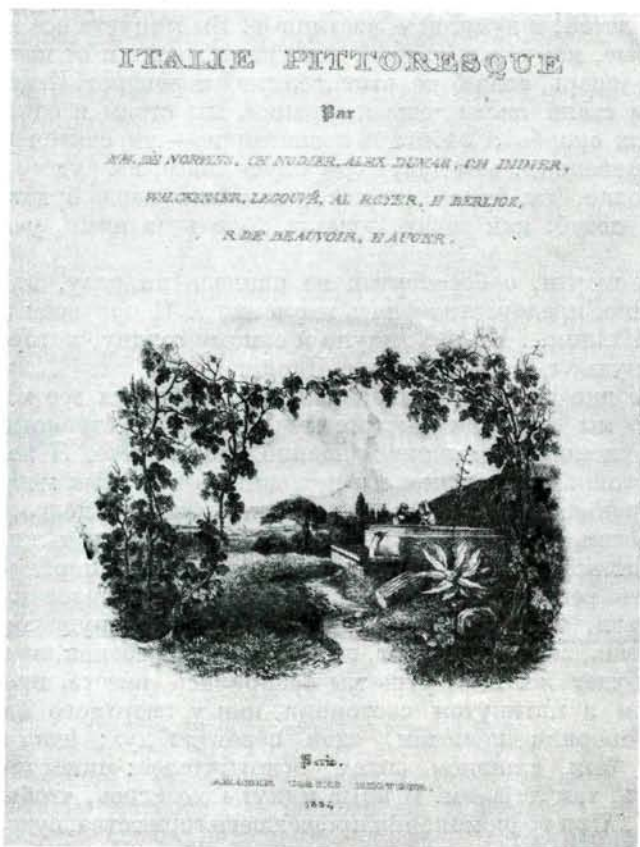
* «Вперед! Вперед!» (франц.; из «Марсельезы»).

** «Всегда в движении» (лат.).

(Париж, июнь 1848 г.)

Еще с детства мне казалось странным все, что делается вокруг меня, и до тридцати лет я не могла привыкнуть к этому порядку или беспорядку: страшная дисгармония, раздражающая душу, все так нелепо, так наизнанку.

Перед революцией становилось свободнее дышать, казалось настает время всемирной перестройки, — все существо мое исполнилось надеждой, любовью, деятельностью. Человечество, ползающее до тех пор как



«ЖИВОПИСНАЯ ИТАЛИЯ»

Титульный лист издания 1834 г.

Рассматривая эту книгу, Н. А. Герцен писала Герцену: «Глядя на волны Адриатики, я воображала, как и мы с тобою когда-нибудь будем ими носимы, как пойдем по Ривальто, не на картине увидим церковь св. Марка и всю красавицу Венецию» (Из письма 1839 г.)

ребенок, удерживаемое на помочах, запуганное, угнетенное, встает, разрывает узы... Прежние властители, или, лучше, дядьки, пугалы, расчищают дорогу, прячутся позади всех, — человечество расправляет члены, высоко держит голову, шаги его быстры и тверды, будто оно разом со знало свою силу. Каждое мгновение заключало в себе столетия, началась жизнь широкая, полная — все личное, семейное, домашнее перестало быть пошлым, исключительным, приняло характер всемирный, казалось, не существует больше собственности, отечества — море единодушия, свободы! И мы с упоением отдались волнам его...

Я была долго на площади, в толпе; мне бы не показалось странно, если бы она вошла к нам и взяла, что ей нужно; каждый был свой, для каждого готов был отдать жизнь.

«Совершилось!» — думала я — недаром были все наши страдания, недаром при всех условиях наслаждаться жизнью каждая минута ее была отравлена, недаром, держа полную чашу в руках, мы томились жаждой, не имая духа хлебнуть, малейшее самоудовлетворенье казалось преступлением... Недаром это негодование, этот скрежет, при мысли о своей ничтожности, о своем бессилии сделать что-нибудь — теперь мы всемогущи!

Глядя на детей, я думала: «Счастливые! Вы минуете все противуречия, сквозь которые, как сквозь строй, нас гнала жизнь и от которых раны не зажили бы и теперь, если б не этот великий переворот. Искривленные, изувеченные, мы стали снова юны и крепки, мы стоим в один ряд с вами! Окончена моя скорбная забота о воспитании, — учредятся новые школы, на новых основаниях, вам дадут здоровую пищу, вы будете расти, развиваться свободно, вы будете хороши, и жизнь ваша будет хороша! И я любила всех детей, как своих, думала ходить за ними, участвовать в их развитии.

Мысль о смерти, о бессмертии не явилась ни разу, настоящее было слишком полно, предчувствовалась гармония... И при всем этом изящная обстановка Италии... Но нас тянуло к самому сердцу, которое заставляет биться все пульсы, — мы летели в Париж.

Июньские дни не замедлили явиться, подробности все известны. Пять дней кряду мы умирали быстро, мучительно, в страшных судорогах, потом, обессиленные, умирали медленно, томительно. Я не умею вернее передать состояние, в котором мы находились во время митральяды улиц и расстреливания инсургентов, — оно продолжалось долго, очень долго; бывало откроешь окно, и все кажется иронией: и пенье птиц, и освещение солнца, и зеленый цвет листьев — ведь, это обман, декорация, за которую льется кровь реками. Все чувства смутны, парализованы, с усилием вслушиваешься, чтоб различить детский говор от пушечных выстрелов, и не понимаешь, зачем стреляют, зачем лепечет ребенок, зачем живет он, наконец, и будет жить? С утра мы собирались вместе, просиживали до поздней ночи в натянутом состоянии, как у смертного одра любимого человека, говорили шопотом, едва переводя дух; одна свеча горела, свет лампы был слишком силен, оскорбителен; никогда тело не было так в тягость, так лишним. В иные минуты хотелось, чтобы бомба упала посреди нас... При воспоминании прошедшего торжества, судорожная улыбка появилась на лицах — не сон ли это был? — Чудный сон!

Но прошло много времени, и после тяжелого сна два великие мгновения канули в вечность. От первого заструился светлый круг и исчез. Долго виднелся кровавый след после другого — и исчез... А море жизни волнуется все так же гордо и небрежно... и — недостаток ли это любви или любила я слишком много, — только теперь я сижу на берегу этого моря, смотрю на него — и то слезы навернутся на глазах, то мелькнет улыбка; я сочувствую его волненью, но отдаться ему, броситься в него — желанья нет более. Теперь я чувствую себя отдельно, живу отдельною жизнью. Моя жизнь терялась, как капля в море, теперь море теряется в этой капле...

Личность моя стала сосредоточеннее, все лучи сведены на один фокус...

Когда меня спрашивают, что я делаю хорошего, мне всегда хочется сказать в ответ: «Живу!»

С каждым днем я не только привыкаю — отвыкаю от всего, что делается на сем свете. Вчерашние, давешние события мне кажутся сказкой, преданьем варварских времен. Самые лица — никогда вид животного не производит такого возмутительного впечатления! Я не выхожу от этого

по воскресеньям, все залито безобразием. Мне нужно после этого долго отдыхать, постоять долго у моего окна, всмотреться в зелень, в солнце, проглядывающее сквозь листья, хоть и оно бледно в Париже, — словом, мне нужно отсутствие человека, нужно забыть о его существовании. И пока я не окрепну, меня возмущает даже вид детей, моей маленькой Наташи. Снова является потребность новой жизни, хоть не для себя, для них, обдаёт новым ужасом от всего старого, искаженного, в котором не только мы, но и они должны провладеть жизнь.

Я всегда ужасно устаю, сидя в театре, мне все хочется прыгнуть на сцену и участвовать в игре, если пьеса со смыслом, если ж нет — хочется



ВЕНЕЦИЯ

Гравюра из «Живописной Италии», 1834 г.

разогнать их, ужасно унижительно видеть самого плохого актера в пошлой роли. В театре несносно, а каково же в жизни? Сидеть весь век прикованным к своему месту и смотреть, как весь свет дурачится! Это меня бесит, я больна от этого и не выздоровлю никогда.

Зачем нельзя забыться неделю в себе, в том, что хорошо мне. Когда меня несли на Везувий четверо лазарони, я ужасно устала, помогая им мысленно нести себя. Так всю жизнь мою без отдыха я помогаю развитию человечества. И что же? Хоть бы распыли меня, — но веры больше нет в искупление!

Сумасшедшие они или звери, не знаю, только у меня судорожно сжимаются зубы и кулаки, при мысли о них.

Вчера было воскресенье, меня насильно вытащили погулять — никогда Париж не залит так грязною толпою, как в праздник, я смотрела, смотрела на них и подумала: что, если прокатить картечью вдоль этой ползающей грязи? Я б с радостью увидала льющуюся кровь — надо же расчистить место человеку! Наконец, из одного эгоизма я желала б гибель этому миру, при всех условиях наслаждаться столетие целое — я считаю жизнь мгновеньями, остальное скрежет, мұка.

Не знаю, кому бы я решилась сказать, до какой степени доходит иногда мое равнодушие ко всему происходящему вне моего внутреннего мира,— ко всем восстаниям, революциям; мне самой становится страшно этого равнодушия, и если бы под его светлой, гладкой поверхностью не таился целый вулкан, готовый пересоздать весь мир или уничтожить все и, прежде всего, самое меня,— я презирала б себя.

Народы, как цветы, прозябают одни дольше, другие меньше. Смерть одних будто удобряет почву для других.

Вот Египет возвышает свой пышный, тучный цвет. Греция — свой цвет, исполненный красоты и благоуханья. Рим величественный, но покрытый кровавыми жилами от чувственной жизни. И много других цветов прекрасных, и отцвели все, и следа иных не осталось вовсе.

В итоге человек становится человечественнее, а поколения незаметно потребляются на выработку его. И я восхищаюсь человеком, поклоняюсь ему, более — люблю его, еще более — я сама человек, а до химической лаборатории мне дела нет, наконец! Слишком много потрачено на нее, много закоптелось, много выгорело. *Non voglio più servire* *. В деревне, в живой, теплый день, когда вижу деревья, высокую траву, мне б хотелось затеряться в ней, забыть всех и чтоб и меня забыли. Я сливаюсь с теплым, благоуханным дыханьем природы, исчезаю с ним в воздухе или игривой, пестрой бабочкой перелетаю с цветка на цветок (пчелой быть я б не желала, пчела слишком трудолюбива), красуюсь на солнце или так, какая есть, с руками и с ногами, уношусь куда-нибудь далеко, на коне или уплываю в океан... Да, если бы забыться! Да, человечество и можно б забыть с его ретортой, но детей моих я не могу забыть!

Мне все *кажется*, что я нужна им, что без меня ничего не делается; я не могу оторваться от них, мы все так же тесно соединены, как в продолжение девяти месяцев, — одна смерть отдалит меня от них, как засохший цвет от зрелого плода, и я не умру прежде, чем они дозреют. А когда увижу их людьми, умру, не жалея о жизни. И верую, что умру, не жалея о жизни. Все недоразвитое во мне, подавленное, несовершенство — все исполнится в них. То, о чем предчувствие одно было для меня счастьем, делало меня человеком, осуществится, воплотится в них.

В них я разовьюсь до себя.

Все, что делается теперь с громом пушек, с пролитием крови, — мне кажется ничтожнее воспитания, я совершаю будущее и какое чистое, сильное будущее! Их минует все, что вынесено мною, оттого, что оно уже вынесено мною. Все предрассудки, эти ржавые осколки орудий, которыми отживающий старец поработал мир и которыми, добывая в предсмертных судорогах отходящее с ним поколение, грозит строго закону, — не коснутся их! Эти ядовитые осколки отразит твердый щит, а этот щит — я. Мою баррикаду не разрушит никакая сила.

А там, может быть, ты дойдешь до гильотины твоим шагом, мой милый Саша, — иди, иди лишь своим шагом, твой след будет — свобода, она переживет гильотину, и ты не умрешь в ней. Свобода! Я, кажется, люблю тебя более детей моих.

Как взор отдыхает, освобождаясь от предметов, теряясь там, вдали, где все сливается в туманную синь, как ум освобождается от своей работы в винных парах, — так в симпатии освобождаешься от всего, от всего, — отдыхаешь даже от привязанности. Это праздник человека.

* Не хочу более служить (итал.).

II. ПИСЬМА Н. А. ГЕРЦЕН

1. ПИСЬМА к Т. А. АСТРАКОВОЙ

Первое из публикуемых писем Натальи Александровны к ее верному московскому другу Т. А. Астраковой (см. о ней в настоящем томе, стр. 540—546) написано из Рима 14 марта 1848 г.

Поездка Герцена с женой в Италию была осуществлением мечты их юности. 16 марта 1836 г. Наталья Александровна писала своему жениху в Вятку: «Итак, мы поедem в Италию? Это не мечта? О, сколько нам счастья впереди!» (А. И. Герцен. Соч. и переписка с Н. А. Захарьиной, цит. изд., т. VII, стр. 74). Их мечты об Италии отражены и во многих других письмах (см. там же, стр. 34, 69, 213, 259, 487, 506).

Большую роль в возникновении этой мечты сыграло увлечение Герцена Данте. В своей камере в Крутицких казармах он изучил итальянский язык. Написанную в тюрьме «Легенду» он щедро насытил цитатами из «Божественной комедии».

Позднее Наталья Александровна писала мужу из Владимира в Петербург о художественном альбоме «L'Italie pittoresque»: «Глядя на волны Адриатики, я воображала, как и мы с тобою когда-нибудь будем ими носимы, как пойдем по Риальто, не на картинке увидим церковь св. Марка и всю красавицу Венецию...» (Е. С. Некрасова. Из владимирской жизни Герценов. Сб. «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам». М., 1897, стр. 71).

Пребывание в Италии не обмануло их мечты. Покидая эту страну, Герцен писал: «Я ехал из Италии, влюбленный в нее <...> там встретил я не только великие события, но и первых симпатичных мне людей» (XIII, 290). В «Письмах из Франции и Италии» (письма из Италии первоначально публиковались под названием «Письма с Via del Corso») Герцен создал прекрасные образы ее городов, памятников искусства, ее природы. Но не эти впечатления составляли пафос «Писем». Герцен и Наталья Александровна были увлечены «великими событиями», свидетелями которых они сделали в Риме и Неаполе. Италия на их глазах пробуждалась к революционной борьбе за свое освобождение. Это было время расцвета надежд на обновление не только Италии, но и всего мира. То впечатление, которое произвела на Наталью Александровну Италия, нашло выражение в ее предсмертной мечте вновь увидеть эту страну. В главе «Смерть» Герцен писал: «Ей хотелось выздороветь, хотелось жить, хотелось в Италию» (XIII, 553).

В Италию Герцен и его спутники прибыли в конце ноября 1847 г. и покинули ее в начале марта 1848 г., — они спешили в Париж, где была объявлена республика.

Публикуемое письмо из Рима содержит замечательное описание панорамы неаполитанской бухты, построенное на контрасте мятежного вулкана и спокойного моря, озаренного луной. Вид, о котором пишет Н. А. Герцен, она могла наблюдать из окна отеля на набережной Киае (лучший квартал Неаполя): «Вместо окна в каждой комнате была стеклянная дверь, выходявшая на маленький балкон с видом на море: вдали красный огонек и виднелась темная струйка дыма на Везувии» (Н. А. Тучкова-Огарева в а. Воспоминания. Л., 1929, стр. 68).

Письмо Н. А. Герцен дает возможность пополнить некоторыми деталями рассказ самого Герцена об их жизни в Неаполе. Ни в «Былом и думах», ни в «Письмах с Via del Corso» он не отметил посещения Геркуланума и Помпеи, а также восхождения на Везувий. М. К. Рейхель и Н. А. Тучкова-Огарева сообщают в своих воспоминаниях еще о поездке в Сорренто и о посещении Лазурного грота на острове Капри

(М. К. Рейхель. Отрывки из воспоминаний и письма к ней А. И. Герцена. М., 1909, стр. 55—58; Н. А. Тучкова-Огарева. Цит. изд., стр. 68).

В заключительных строках письма, в мягких упреках по адресу Астраковой, еще сохранявшей придирчивую нетерпимость в отношении к друзьям, выражена потребность в новых, более свободных отношениях с людьми — свидетельство того, что Н. А. Герцен уже далеко отошла от того «нескончаемого хождения все в одну сторону, по-солонь», о котором писал Анненков, передавая слова Натальи Александровны (П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М.—Л., 1928, стр. 523).

Второе письмо к Астраковой написано из Парижа. Начато оно было 23 июня, а закончено, вероятно, 30 июня. Этой датой помечена краткая приписка Герцена к письму. Приписка представляет большой интерес как самый ранний из дошедших до нас откликов Герцена на потрясшие его события июньских дней, с такой силой заклеянные им и в статьях «С того берега», и в последних «Письмах из Франции и Италии», и в «Былом и думах».

Герцен выразил надежду, что июньские события раскроют глаза всем честным людям, в том числе В. П. Боткину, который протестовал против критики Герценом буржуазии в «Письмах из Avenue Marigny» (см. П. В. Анненков и его друзья», стр. 550—553). Как известно, В. П. Боткин не только не прозрел, но становился все более «реаком», как Герцен называл реакционеров.

Оба письма впервые, но крайне неисправно напечатаны в журнале «Русские записки» (Париж, 1939, XIV, стр. 104—106 и 106—108). Второе письмо, с припиской Герцена, публикуется по фотокопии с подлинника, хранящегося ныне в Колумбийском университете (США).

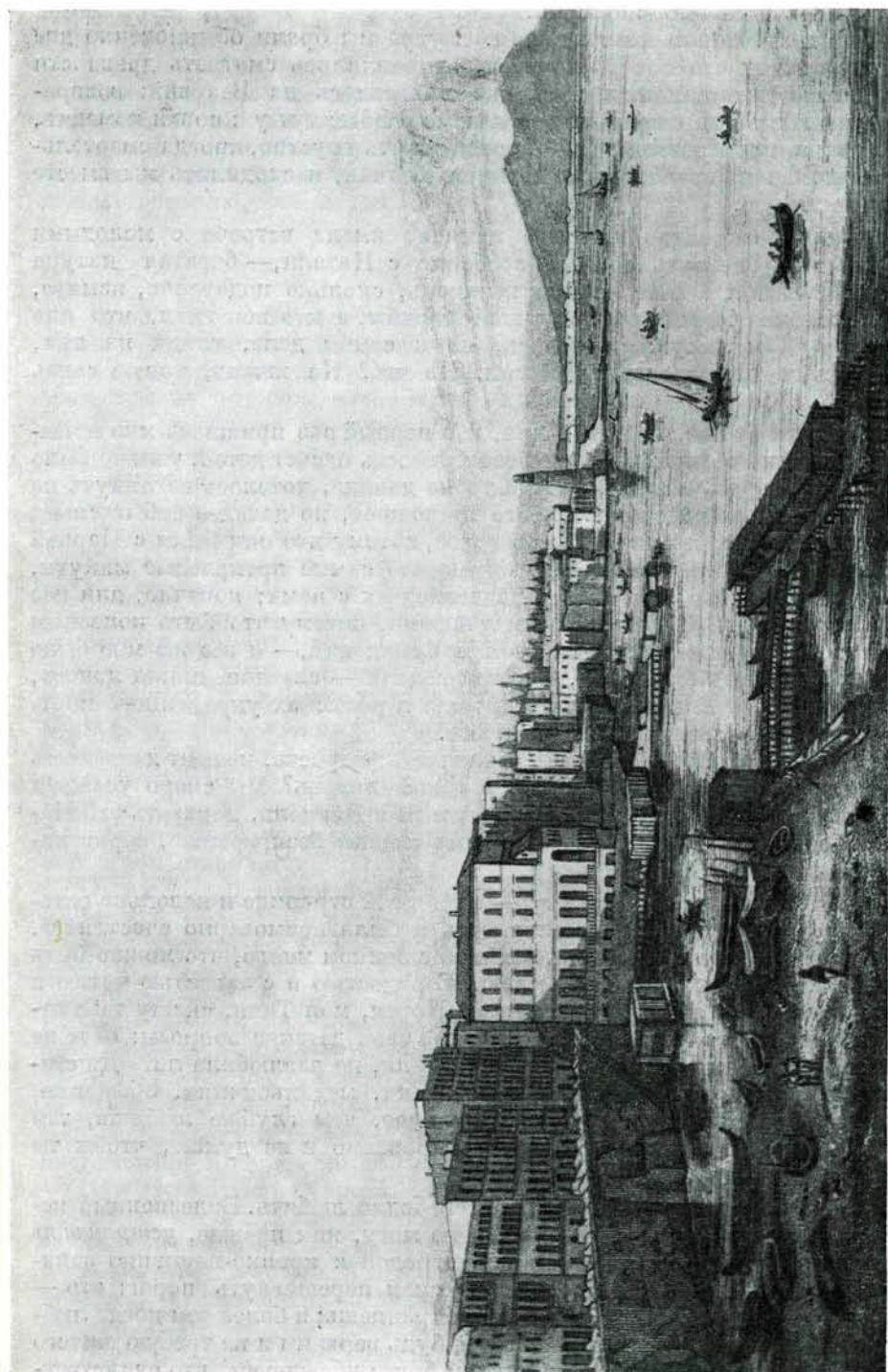
1

Рим. 1848 год, март 14

* Теперь бы следовало извиненья или, по крайней мере, объясненья, почему я не писала давно; не стану тратить слов ни на то, ни на другое, — суди, как знаешь, как умеешь, какова я есть. Не писала и все тут... Нужно б видеться, говорить, ни в какую форму не укладывается то, что сказал бы живым языком, и бросишь перо, и ломает тебя невозможность передать все, что бы хотелось, — это меня утомляет страшно, даже физически...

Сколько отрадных явлений, сколько минут, полных жизни живой, и все мимо вас. Ну, так буду же списывать тебе нашу прогулку в Неаполь. Вот две недели, как мы воротились оттуда. Мария Федоровна с Колей и Наташей оставались в Риме. А мы все с семейством Тучковых провели три недели в Неаполе. Это лучшее время из всего путешествия по Италии. Чудный город! Все наши окна были обращены к Средиземному морю, там вдали дымящийся Везувий, целые часы, целые дни я с упоением смотрела на эту беспрерывно меняющуюся панораму, даже в дождь, даже в ненастье, так везде хорошо, — хорошо и кататься, хорошо и дома сидеть у окна, бесконечно хорошо, начиная с рассвета. Так, миг за мигом, я упивалась этой живой картиной. Наконец, ночь. Мрачный, величественный Везувий каждую минуту выбрасывает огненный сноп, и опять поток лавы опоясывает его, теряется в море. Я полюбила его как друга, эту гору, я так сочувствую ее вулканической жизни... меня физически тянет в ее огонь, а тут месяц светлый тихо, тихо поднимается, серебрит море, и глаза невольно обращаются туда, рыбацьи лодки так беззаботно скользят,

* Начало письма в публикации «Русских записок» отсутствует.



НЕАПОЛЬ
Гравюра] из «Живописной Италии», 1834 г.

будто играют, забываешь труд бедняка и так же беззаботно ложишься в постель и засыпаешь спокойно.

Новый день, новые наслаждения. С утра мы брали обыкновенно две коляски, потому что нас 10 человек, отпирывались смотреть древности Геркуланума, Помпей и т. д., даже взбирались на Везувий; возвращались домой к 5-ти часам, прямо к *table d'hôte*; тут уж новая комедия, все эти лица, иные разговоры — иногда смерть грустно, иногда смертельно смешно. Спальня у каждого была особенная, и сходились мы вместе в одну гостиную.

На меня бесконечно хорошее влияние имела встреча с молодыми Тучковыми и близость с ними, особенно с Натали, — богатая натура и что за развитие! Их не пощадила жизнь, сколько подавлено, измято, убито, сколько устали от ненужной борьбы, а кто же знал, что она не нужна? Так ли уж случилось, но в самом деле, глядя на них, у меня много набралось новых сил. На что? На жизнь, новую связь с жизнью.

Три недели прошли, как три дня, и в первый раз пришлось мне испытать совершенно незнакомую мне беззаботность насчет детей, только было больно, что я врозь с ними, иногда тоска давила, хотелось взглянуть на них, услышать их голосок... но это тревожное, не дающее забыться ни на минуту чувство не существовало вовсе, потому что они были с Марией Федоровной. Это же самое часто отравляло самые прекрасные минуты, мне так было больно, что она не разделяет их с нами; конечно, для нее было вознаграждение в самом этом лишении, потому что быть полезным другим для нее, кажется, выше всех наслаждений, — и все же мне было больно и совестно бесконечно. Эти три недели — светлая, яркая полоса, несмотря на то, что целая неделя прошла в розысках украденного портфеля со всеми бумагами и документами.

В Риме гадко, погода ужасная, мрачность, сырость, мешает даже жить прошедшей жизнью; куда поедешь в такой ливень? Мы скоро уезжаем отсюда, куда — не знаю; хотели воротиться в Неаполь, показать его Марии Федоровне, потом в Палермо, но все спешат беспрерывно, верно ничего не знаю...

Возвращаясь к твоему письму — на первой странице я невольно остановилась на этом слове: «И в этот день я была неимоверно счастлива». Вот не требуй больше от жизни, уж и то слишком много, что можно быть счастливой в иной день и целый день. С радостью и с завистью читаю я описание твоих и Грановского именин. Потом, моя Таня, скажу тебе откровенно, что я горько улыбнулась, читая твои детские вопросы: «Уж не рассердилась ли ты на меня, уж не забыла ли, не разлюбила ли?» Да станем же во весь рост, бросим все сердечки, медальончики, обещания, клятвы, уверенья в дружбе, — чем истиннее, чем глубже любишь, тем ненужнее все это. Я пишу тебе все откровенно и не думаю, чтобы ты рассердилась, ведь это унижает.

Я как-то так привыкла широко и свободно любить. Болезненный период прошел для меня совершенно, я не могу, как прежде, *устраивать* прочно дружбу, обносить ее высокой оградой и крепко-накрепко запираť ворота, чтобы непосвященный не смел перешагнуть порог; это — детство, это — неуверенность в том, что охраняешь; я более чем когда люблю всех моих друзей, более чем когда-нибудь верю им и не требую ничего и не люблю ничего; чем более живу, тем более убеждаюсь, что единственное существенное благо в жизни — это симпатия, — кто же подвергнет его даром влиянию чего бы то ни было? Если же оно таково, что легко можно иметь влияние на него, я отказываюсь от такого непрочного блага; одной игрушкой меньше...

Продолжаю читать твое письмо и, наконец, улыбаюсь: «Неужели ты не выбралась, Наташа, считать каждую женщину за сплетницу, врага и так далее?»

О, Таня, Таня! я не буду отвечать тебе на это, — это просто бред. Ты бы должна довольно знать мою историю. Сначала я была дика и ни к кому не подходила, потом подходила робко, но с полной доверенностью, уж если подходила, — теперь я не могу не подходить, и все равно — женщина или мужчина, лишь бы внутренний голос сказал мне, что есть общее. Я этому голосу доверяю бесконечно.

2

Париж. 1848, июня 23-го

Только что послала тебе письмо, получила твое, моя Таня, моя хорошая Таня! Хотя многое в нем давно писано, но я все-таки читала и перечитывала его с большой любовью. Люблю тебя, Таня, хорошее ты существо, несмотря на все недостатки и претензии твои, да, претензии. Не сердись, оно так. Претензии не от бедности натуры, не от пошлости, а от того, что жизнь не вселила доверия к себе. Лучше сказать, не претензия, а требовательность, она и законна, так как справедлива, но не хотелось бы ее иногда, оттого, что не хотелось бы, чтоб ты страдала; а не страдала бы, — была бы бедная натура. Так лучше оставайся тем, чем есть.

Когда мы увидимся, не знаю. Из Италии ты велела уехать, а и здесь я не здоровее, напротив, скучно быть больной, унижительно, досадно, особенно теперь, — никогда не нужно мне было так здоровье, как теперь, — жизнь так хороша, хотелось бы жить и для себя, и для других. Принялась серьезно лечиться, авось мне будет лучше. Саша пока здоров, понемножку всем занимается, доктора говорят, что до 18 лет необходимо бесконечное внимание и попечительность для его деликатного сложения — в ученье, в игре, в содержанье, — словом, *беспрерывная* осторожность, — ты поймешь, стало, Таня, как бы я желала быть здоровой! Коля и Наташа милы и здоровы, растут, умнеют. Потом, Таня, ты знаешь, как Александр тревожится всегда о моем здоровье, и это все сильнее и сильнее в нем становится.

От вас вести хорошие. Ел<изавета> Б<огдановна> мне пишет <?>, что и Корш и Кав<елин> имеют место в Петербурге. Легче стало на душе. А как посмотрела бы на всех вас... пиши мне, Таня, все, все обо всех.

Хорошо, что ты занимаешься. Ты увидишь, как при малейшем успехе тебя будет все более и более утягивать в изучение чего б то ни было. Есть люди, которых довольно увидеть мимоходом, чтоб узнать, что в них есть много или будет много хорошего — к этим людям принадлежит Вал. Ф. Корш — я его вовсе не знаю, ничего не слыхала о нем, видела раз и уверена, что хороший человек, хоть может и будет много ломки и переработки.

Как страшно за Огарева, пиши мне о нем подробнее. На днях мы узнали о смерти Белинского — бесконечно жаль! Чудный был человек, какая нелепая и глупая вещь смерть.

Жаль мне, вот что, Таня, ты ждешь нас так, как будто мы сейчас приедем, а я не знаю, когда мы поедем, — нет ничего хуже, как такая ошибка. Перенес бы тебя как-нибудь сюда.

В августе или в сентябре ты увидишь Тучковых; ведь ты дикарка, не бойся, я тебя заранее познакомила, то есть с двумя девушками, Hélène и Natalie. Каждая в своем роде хороша, встреча с ними дорога мне, она принесла мне много юности, свежести, наслаждения в мою душу; уж не говоря ни о чем другом, великое счастье любить так, как я их люблю. Хорош мой внутренний мир, Таня, так полон, полон, — я не говорю:

одного светлого, но я не отдала б ни одной капли того горького, что в нем. Писать не хочется — а следовало бы ответить.

Итак вы остаетесь<!>... Кто сторожил мои мысли... Как тебе плохо будет, Таня, с твоей живой и симпатичной натурой, это одиночество. Ну, прощай пока. Мне советуют и Саше ездить верхом — сегодня отправляемся. Скоро начну его купать. Здоровье его заметно поправляется. Вожу его в гимнастику. И знаешь мою радость: я воображала, что у него нет ни слуха, ни способности к музыке — напротив, ему дает уроки хороший музыкант и говорит, что, если Саша будет продолжать так учиться, так через год порядочно будет играть. Мне кажется иногда, что я снова переживаю жизнь...

24 июня на слове жизнь я была прервана пушечными выстрелами, которые продолжались день и ночь *четыре дня*, город до сих пор en état de siège*, убитых, говорят, 8000. Вот все; подробностей не достаёт духа описывать. Как мы живы, удивляюсь, но живы только физически, Таня; были минуты, в которые я желала быть уничтожена *со всей семьей*. Не знаю, оживем ли настолько, чтоб что-нибудь в жизни еще вызвало искреннюю улыбку. Кланяйся всем.

<P. S.> Давно писано это письмо, но все-таки посылаю его тебе, — оно тебе даст понятие о нашем житье-бытье. М<ария>, Ф<едоровна> жмет тебе руку. М<ария> К<аспаровна> сама пишет.

Приписка Герцена:

30 июня. Что мы видели, что мы слышали эти дни... мы все стали зеленые, похудели, у всех с утра какой-то жар. Преступление четырех дней совершилось возле нас, около нас. — Дома упали от ядер, площади не могли обсохнуть от крови. Теперь кончились ядры и картечи — началась мелкая охота по блузникам. Свирепость национальной гвардии и Собрания превышает все, что вы когда-нибудь слышали. Я полагаю, что Вас<илий> Петр<ович> перестанет спорить о буржуази. Если б не Кавеньяк, то пленных расстреляли бы всех.

На обороте рукой Герцена: Татьяне Алексеевне Астраковой на Девичьем поле в собст<венном> доме, в приходе Рождества на Овражках.

2. ПИСЬМО к Т. Н. ГРАНОВСКОМУ

Публикуемое письмо написано приблизительно в одно время с «Записками» Натальи Александровны (см. выше, стр. 367) и является ценным дополнением к ним. В нем то же восторженное приветствие революции и та же горечь по поводу ее подавления; в нем признание, что борьба не окончена («Мы переживем нашу смерть»). Наталья Александровна верила, что она будет жить в своем сыне, которого она поведет по пути революции: «Marchons! Marchons!». В этом письме преобладает бодрый тон — она хотела в лице Грановского внушить московским друзьям веру в революционный путь и подчеркнуть свою (а вместе с тем, конечно, и Герцена) преданность этому пути.

Письмо публикуется по автографу из рукописного отдела Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ЛБ, Г. — О. IX, 218).

<Париж. 1848 июнь — июль>

Дайте вашу руку, Грановский, поздравляю вас с выздоровлением Лизы от всей души! Не прибавлю к этому ни одного слова более, я знаю, что она для вас, и вы знаете, как дорого мне ваше счастье.

* на осадном положении (франц.).

делалось неловким оставаться, мы были дома на улице, там встречались все, как родные братья. Потом мы летели в Париж... тут пусть расскажет вам Мария Федоровна, одно воспоминание разлагает меня даже физически, теперь я не могу писать об этом. Полжизни убито, все надежды разбиты. Мы не сделаем ничего, мы не увидим ничего... Мы переживем нашу смерть. Но я не дошла до отчаяния, еще много остается делать, и ни Кавеньяк, никакая сила в мире не помешают мне, не разрушат моей баррикады, да, Грановский, я это чувствую, сознаю, без этого не стала б и жить. Личное счастье не удовлетворяет, да и личного счастья нет без этого; я знаю, что я строю крепкую баррикаду, моя баррикада это — мой Саша! Может быть, разобьют и ее... но много будет спасенных за нею. Иногда мне виднеется тюрьма, цепи, гильотина вдали той дороги, по которой я его веду, но сердце у меня не болит и пока не дрожит; я держу его крепко за руку, внутренний голос беспрерывно говорит во мне: «Marchons! Marchons!»

Когда будем вместе, помогите и вы мне. Дайте вашу руку. Дайте и обнять вас обоих.

Ваша Natalie

«Когда будем вместе», сказала я, а когда мы будем вместе? ... Не знаю. О, как бы иногда полететь к вам, поговорить с вами, хоть посмотреть бы на всех вас... Я коротко пишу оттого, что хотелось бы писать без конца. Давно от вас ни строки... а что нужно б иногда хоть несколько слов, написанных родной, близкой рукой.

Будьте здоровы. Не знаю, чего теперь можно еще пожелать?

3. ПИСЬМО к М. К. РЕЙХЕЛЬ

Настоящее письмо связано с серией писем Натальи Александровны, напечатанных нами в томе 61 «Лит. наследства» по копиям, хранящимся в «пражской коллекции». Теперь мы располагаем текстом еще одного письма 1852 г., опубликованного в «Русских записках» (Париж, 1939, XIV, стр. 114 — 116). Написанное 29 февраля 1852 г., письмо полно отзвуков пережитой личной драмы, связанной с увлечением Гервегом и с гибелью сына Коли. М. К. Рейхель, видимо, выражала тревогу за исход предполагаемой дуэли между Герценом и Гервегом. Наталья Александровна успокаивает ее. Она благодарит за дагерротип Коли, полученный от Рейхель; интересуется Сашей — сыном Рейхелей, названным Александром в честь Герцена.

29 февраля <1852 г. Ницца>

Для концерта Рейхеля собиралась спустить ноги с постели сегодня в первый раз. Теперь у меня растет забота о существе, которое должно явиться на свет через четыре месяца. Сколько перестрадало оно со мною! Что-то будет с ним?

Ты боишься за фактическое окончание, — А<лександр> слишком много проповедовал о разрушении старого и создании нового мира, чтоб уступить предрассудку первого; может, и уступил бы, — но не там, где раздавить ногой уж много чести. Будь покойна...

А страшно встать, увидишь море, милый, милый ангел! Хоть бы на могилке его посидеть, хоть бы могилку его обнять и целовать, целовать, — цветами бы украсили... ничего нет; шумит себе безумное, как будто ничего не было.

Благодарю, целую портрет.

Нашипи о Саше, что-то он — продолжает расти по-богатырски? Дети и я обнимаем вас...

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. ПИСЬМА к Н. А. ГЕРЦЕН

1. ПИСЬМО И. П. ГАЛАХОВА

В «пражской коллекции» хранится несколько писем Ивана Павловича Галахова к Герцену. Они опубликованы в т. 62 «Лит. наследства» (стр. 64—68). Там же читатель найдет характеристику личности Галахова. Здесь мы публикуем его письмо к Н. А. Герцен.

Это письмо написано незадолго до последнего свидания Герцена с Галаховым в Италии, в конце 1847 г. Вспоминая об этом свидании в «Былом и думах», Герцен писал о Галахове: «Итальянское движение закипало тогда, он был увлечен им. Вместе с взглядом, исполненным иронии, он хранил романтические надежды и все еще рвался к каким-то верованиям» (XIII, 107). О «пробудившейся, восторженной Италии», о радости «искренних поисков истины», о необходимости «служения людям» говорится и в публикуемом письме. Факт обращения с этим письмом к Наталье Александровне показывает, что Галахов был убежден в значительной общности идейных взглядов Герцена и его жены.

Письмо публикуется в переводе с французского подлинника *, находящегося в «пражской коллекции» (ЦГАЛИ, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 77).

24 сентября <1847 г.>
Баден-Баден

Дорогая Наталья Александровна!

Несколько слов ваших ¹, так глубоко выражающих вашу личность, пробудили во мне живое ощущение симпатии и понимания, установившихся между нами. Это впечатление было для меня большой радостью; однако по той же причине, что и вы, я испытал сожаление от сознания, что мы разлучены и не можем согласовать наше пребывание за границей. Нам (я разумею здесь вашего мужа так же, как и вас) постоянно нужно сообщать друг другу множество вещей, чувствовать себя в присутствии друг друга, словно объединенными взаимным проникновением, умственным и душевным; и эта реальная связь, это непосредственное, исполненное понимания согласие, раскрывающееся в слове, приносит большое удовлетворение, создает непринужденность, обогащает; и я сомневаюсь, чтобы на земле существовали большие радости и, быть может, более реальная цель, чем связь между личностями и их единение в истине или в той части истины, которая им раскрылась и неопровержимо о себе свидетельствует, и еще их единение в искреннем искании истины. Тем не менее, я добавлю, что этот предел понимания и согласия между людьми превзойден стремлениями и требованиями человечества, ожидающего от них осуществления добра, выявления идеи, в которой они достигли согласия, и, следовательно, служения людям, действия и противодействия в сообществе с ними. Современное общество предчувствует это и тревожится этим, и вы, в частности, также призываете нас, к тому же отдавая себе в то же время отчет в том, что нам недостает энергии, преданности и единства принципов и выводов из них. В оправдание нам и скромности ради надо сознаться, что мы не избранники и что зло, темнота и труд ² охватывают еще все общество, в котором мы затерялись, как более или менее честные и разумные рудокопы под землей.

Что до меня, то я должен еще усилить дозу скромности и смирения, так как мне были отпущены посредственные способности и состояние моего здоровья препятствует тому, чтобы я применил их так действенно, как мне бы того хотелось. В Вашпаре, как вы знаете, у меня был

* Перевод М. Г. Ашукиной.

приступ нервного заболевания, сильно меня потрясшего и обессилившего; с тех пор я прошел через медленное исцеление с помощью хорошего врача. Эти обстоятельства помешали мне сейчас же ответить на ваше письмо, ибо у меня болела рука и я не мог писать. Хотя мне и лучше, я вынужден еще беречь руку и прибегать к услугам жены. Сердечно благодарю вас, что вы не замедлили отнестись к ней с доброжелательством и доверием. Она достойна и того и другого, уверяю вас, и она может оспаривать у вас преимущество в чувствах, внушенных ей вами. Я принуждаю ее писать вам то, что я ей диктую, ибо у меня потребность сказать вам, что она добра и нежна; ее присутствие — благодеяние для меня (я устал от одиночества). Лишь бы болезнь моя не причинила ей слишком много огорчений, в остальном я ей вполне пришелся по душе. Элиза³ и сестра моя⁴ очень сожалели, что не застали вас в Париже, тем более, что покинуть его вас заставило недомогание моего дорогого Саша⁵. Мы часто гадали о его здоровье и о всех вас. Даст бог, здоровье маленького полностью восстановится, вы, дорогой друг, наберетесь сил и вернетесь в Париж довольной, полной мужества и веры в будущее. Я вас настоятельно прошу сообщать мне известия обо всем, что вас касается; я должен быть спокоен за Сашу. Если вы сможете написать на другой день после получения настоящего письма, адресуйте ваше письмо в Баден-Баден (Великое герцогство Баденское), просто, не указывая «до востребования». Если вы опоздаете, то адресуйте в Ниццу Приморскую⁶ (Королевство Сардиния, Италия). Вы видите, что я невысокого мнения о ваших сведениях по географии, несмотря на карты, которые я всегда видел перед вами. Герцен еще менее способен знать <ее> и может попросту поставить «г-ну Галахову». Врач нашел необходимым, чтобы я провел зиму в Ницце, и таким образом нам пришлось расстаться с сестрой, которая хотела провести эту зиму в Дрездене, ближе к моей сестре Плец⁷; ей, впрочем, Ницца совсем не подходит. А вы, останетесь ли вы в Париже — в этой сумятице интересов, мыслей, повседневных событий и критики, или вы отправитесь в пробудившуюся, восторженную Италию, полную приветственных кликов и восхвалений благородного Пия IX? Независимо от политики и социализма, вы должны были бы серьезно выбрать климат, который вам подойдет и который в будущем укрепит ваши силы. Я получаю письма от Фролова⁸, посетившего своих друзей в Москве и в настоящее время в Петербурге, установившего отношения с журналом «Современник»⁹, которому он уже поставляет статьи, — и баста, раз мы не можем говорить устно. Целую ваши руки; обнимаю Герцена в качестве нелюбимого друга и союзника во многих, многих вопросах, если не во всех. Говорят, что он у дела; пусть не забудет доставить мне оттиск¹⁰. Прошу вас передать мое почтение и дружеские заверения мадемуазель Корш, а также искренний поклон господам из вашего кружка, включая и господина Белинского¹¹, которого я хотел бы видеть на пути к выздоровлению.

Рассчитываю на вести от вас.

Ваш Г а л а х о в

Я также, дорогая мадам Герцен, плюю вам сердечный привет и поддерживаю просьбу Галахова о том, чтобы вы нам поскорее написали, что вы поделяетесь и как поживаете.

Сердечно ваша Э<лиза> Г<а л а х о в а>

¹ Это письмо к И. П. Галахову неизвестно.

² Галахов, вероятно, имеет в виду труд эксплуатируемых.

³ Элиза — жена И. П. Галахова, рожд. Боуэн, англичанка, с которой он обвенчался в Париже 17 мая 1847 г. Свидетелями бракосочетания были Герцен и П. В. Анненков.

⁴ Сестра И. П. Галахова — Мария Павловна, вдова англичанина Кенни.

⁵ *Саша* — старший сын Герцена.

⁶ В Ницце в ноябре 1847 г. состоялась встреча Галахова с семьею Герцена и имели место споры между ними, отраженные в «С того берега».

⁷ Надежда Павловна фон *Плец*.

⁸ Николай Григорьевич *Фролов* (1812—1855) — географ, переводчик «Космоса» А. Гумбольдта. Был женат на сестре И. П. Галахова Елизавете Павловне, умершей в 1840 г. В Берлине у него был салон, в котором русские встречались с немецкими знаменитостями. Был другом Грановского и Станкевича.

⁹ В «Современнике» за 1847 г. были напечатаны статьи Фролова «Исправительные тюрьмы в Швейцарии» и «Александр фон Гумбольдт и его „Космос“».

¹⁰ В Париже Герцен работал над «Письмами из Avenue Maignan».

¹¹ С Белинским Галахов встречался в доме Герцена (см. «Письма Белинского», т. III, стр. 248, 254, 260; П. В. Анненков. Литературные воспоминания, цит. изд., стр. 595, а также: «Лит. наследство», т. 56, 1950, стр. 161 и 168).

2. ПИСЬМО М. Ф. КОРШ

В «пражской коллекции» сохранилось лишь одно письмо из переписки М. Ф. Корш с Н. А. Герцен. Оно написано вскоре по возвращении Корш в 1848 г. в Москву из Парижа, где она жила в семье Герцена, помогая Наталье Александровне в ее заботах о детях. М. Ф. Корш после встречи со старыми друзьями погрузилась в атмосферу московского кружка, который в отсутствие Герцена поблек. В ней ожили волновавшие ее вопросы, связанные с перепиской членов кружка сороковых годов, с преодолением романтических увлечений. Термин «романтизм», постоянно встречавшийся в их переписке тех лет, нужно понимать в данном случае не в том философском или литературном смысле, в котором он употреблялся в окружении Герцена. Этот термин главным образом применялся к оценке личных, дружественных отношений членов кружка. Под романтизмом они понимали повышенные требования друг к другу, вытекавшие из идеализации близких друзей, романтизмом также называли эмоциональную напряженность этих отношений, их экзальтированность. В письме к Герцену (в Петербург) М. Ф. Корш писала 3 октября 1846 г. после прощальной беседы: «Вследствие ваших размышлений, когда вы ехали на извозчике за день до вашего отъезда, я думаю, что вам не покажется смешно, что я пишу вам. Даже Огарев находит, что это не романтизм. Жаль только, что ему кажется это не романтизмом потому, что мы с вами расстались только три дня. По его мнению, если бы я написала к вам, не выдав вас два года, — это был бы романтизм. Впрочем, я знаю, что он не чувствует» (ЛБ., Г.—О. Х., 45).

«Сокровенные споры» и разлад внутри кружка, вызванный глубокими идейными расхождениями, обострившимися также на бытовой почве, — поставили вопрос и о романтизме отношений. Огарев среди друзей выделялся смелостью и крайностью своих суждений. Его считали наиболее свободным от всех условностей. Этим объясняются и ссылки на разговор с ним в цитируемом письме.

Письмо публикуется по автографу (ЦГАЛИ, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 102, лл. 8—9).

<Ноябрь 1848 г.¹ Москва>

Вы, Наталья Александровна, правы, говоря, что в вас романтизму более, нежели во мне, потому что жизнь вас баловала более, нежели меня. Со мной жизнь не совсем ласково поступала; теперь еще она как-то лучше обращается; может, это кажется мне, потому что я сама стала меньше требовать от людей. Вы хотите знать, почему я думаю, что в вас больше романтизму, нежели во мне. Да вот даже эта страсть, с которою вы предаетесь всякой новой симпатичной встрече, — романтизм.

Без романтизма этого нельзя, можно глубоко любить людей, но предаваться с страстью страшно — это значит слишком опираться на личности и рисковать страшно ушибиться. Я боюсь, что вы подумаете, что я сделалась холодное, нелюбящее существо, но, право, право, это не так. Я, может быть, теперь крепче и больше люблю, но привязываюсь не слепо. Понимаю прекрасное и дурное — и потому у меня не может быть

полного увлечения, а привязанность глубокая может быть, потому что я знаю, почему должно быть это хорошее и дурное в человеке. Не знаю, ясно ли я написала, я вообще писать не мастерица.

Ну, что же сказать вам о всех наших? В сию минуту они здоровы. Евгений² работает, Грановский — также, он назначен быть исправляющим должность ординарного профессора и хочет начать писать докторскую диссертацию³. Недели две тому назад он съездил в Орел и надеется теперь, что имение, оставленное ему матерью, будет спасено. По возвращении из Орла он было очень занемог, но теперь опять здоров и несколько веселее прежнего, хотя все, что делается теперь на белом свете, все-таки сильно тревожит и его и прочих друзей наших⁴. Елизавета Богдановна⁵ также теперь довольно здорова, — она очень бережется и занимается, берет уроки естественной истории у Сергея Ивановича⁶ и много играет⁷. Грановские оба хотели писать вам и прислать мне письмо, чтобы послать с моим; во времена романтизма я бы не написала вам о них, а теперь все-таки на всякий случай пишу, — я знаю, что им хочется писать вам, но со всем тем знаю, что они, может быть, еще отложат. Видите ли, Александр Иванович, что я смотрю на вещи как следует, а от этого право*

Сейчас был у нас Мельгунов⁸; привез часть описаний видов и дал слово привезти остальные через несколько дней. Он так убедительно просил меня вам кланяться, что я кланяюсь.

¹ Письмо датируется на основании указания на подготовку диссертации Грановского и упоминания о поездке в Орел для утверждения прав на наследство матери. 1 декабря 1848 г. Грановский писал жене о своих хлопотах в Орле («Т. Н. Грановский и его переписка», т. II. М., 1897, стр. 279).

² Евгений — брат М. Ф. Корш.

³ Докторская диссертация Грановского «Аббат Сугерий» появилась в печати осенью 1849 г.

⁴ Речь идет о политических событиях 1848 г. — подавлении революции во Франции и росте реакции в Европе и России.

⁵ Елизавета Богдановна — жена Грановского.

⁶ Сергей Иванович — Астраков. О нем см. в «Лит. наследстве», т. 62, 1955, стр. 9—22.

⁷ Е. Б. Грановская была превосходной пианисткой.

⁸ О Мельгунове см. в «Лит. наследстве», т. 62, 1955, стр. 308—322.

3. ПИСЬМО СЕРАФИМЫ КЕТЧЕР к Н. А., А. И. и А. А. ГЕРЦЕНАМ

Письмо Серафимы Николаевны Кетчер (с приписками ее мужа и М. Ф. Корш) представляет особый интерес как прекрасная иллюстрация к главе «Былого и дум» — «Н. Х. Кетчер (1842—1847)».

В своей эпопее, охватывающей все социальные слои Европы, ее востока и запада, Герцен уделял внимание не только таким «горным вершинам», как Гарибальди, но и рядовым людям, вскрывал в их судьбах типические черты, отражающие сущность исторических процессов. Много внимания он уделял тем «неудавшимся людям», которые «сорвались с общего пути, тяжелого и безобразного, и никогда не попадали на свой собственный, искали его и на этом поиске останавливались» (XIII, 204).

Эта остановка в исканиях и разлучила Кетчера с его бывшим другом. Он стал отходить от автора «Писем об изучении природы» и постепенно перешел в лагерь врагов Герцена, в лагерь реакции. В главе «Н. Х. Кетчер» рассказана история распада кружка «московских друзей» Герцена. В ней освещена преимущественно бытовая сторона жизни кружка этих лет, со всеми мелочами, засорявшими светлые, дружеские отношения, которыми так дорожили все члены кружка. О глубоких идейных причинах, которыми объяснялась борьба внутри этого кружка, ознаменовавшая начало размежевания между демократией и либерализмом в русском освободительном движении,

* Окончание письма отсутствует. Со слова «Сейчас» — приписка, сделанная на первом листе.



С. Н. КЕТЧЕР

Рисунок К. А. Горбунова 1845 г. из альбома, подаренного Герцену Огаревым
«Пражская коллекция»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Герцен писал в XXXII главе («Последняя поездка в Соколово. — Теоретический разрыв. — Натянутое положение. — *Dahin! Dahin!*»).

В том, что дружеские отношения испортились, немало был виноват Н. Х. Кетчер, — взятая им на себя «роль доброго, но ворчащего дяди часто была хуже, чем смешна» (XIII, 209). Герцен винил и его жену, сыгравшую ту же роль в отчуждении мужа от его друзей, что и Тереза — жена Руссо.

Круглая сирота, Серафима Николаевна была принята в раскольниковский скит; уйдя оттуда, она стала работать в какой-то мастерской. Герцен назвал эту женщину «представительницей пролетариата», и этим объясняется особый интерес к ней в демократически настроенном кружке Герцена. Кетчер сошелся с ней; у них родился ребенок, который вскоре умер. Связь между ними ослабла и, казалось, порвалась после переезда Кетчера в Петербург. Вынести разлуку Серафима не смогла: усиленно работая, она накопила денег и добралась до Петербурга, чтобы быть около Кетчера. Эта преданность покинутой женщины потрясла Кетчера, и он женился на ней. По переезде в Москву Кетчер ввел ее в кружок Герцена — Грановского.

«Первый дом, открывшийся с любовью, с теплотой сердца, был наш дом. Natalie поехала к ней и силой привезла к нам. С год времени Серафима держалась тихо и дичилась чужих; пугливая и застенчивая, как прежде, она была полна тогда своего рода народной поэзией. Ни малейшего желания обращать на себя внимание своей странностью; напротив, желание, чтобы ее не заметили. Как дитя, как слабый зверек, она прибегала под крыло Natalie; ее преданности тогда не было границ. Часы целые любила она играть с Сашей и рассказывала ему и нам подробности своего ребячества, своей жизни у раскольников, своих горестей в *ученье*, т. е. в мастерской. Она сделалась игрушкой нашего круга; это, наконец, ей понравилось; она поняла, что ее положение, что она сама *оригинальны*, и с этой минуты она пошла ко дну...» (XIII, 222).

Герцен понимал ту серьезную ошибку, которую он сам и его близкие совершили в отношении Серафимы: «Ее оригинальность нравилась, мы хотели ее сберечь и обломили последнюю возможность развития, отняли у нее охоту к нему, уверив ее, *что и так хорошо*. Но оставаться *просто* попрежнему ей самой не хотелось. Что же вышло? Мы, революционеры, социалисты, защитники женского освобождения, сделали из наивного, преданного, простодушного существа *московскую мещанку*» (XIII, 222).

В размышлениях Герцена о судьбе Серафимы указаны причины, помешавшие ее нравственному развитию: и следы воспитания в раскольниковском скиту («она из него вынесла способность изуверства, идолопоклонства, способность упорного, сосредоточенного фанатизма и безграничной преданности» — XIII, 215), и «та неповоротливость мозга, которую мы часто встречаем в людях, совершенно непривычных к отвлеченной работе» (XIII, 219), и тот «огромный страшный обрыв», который столь резко обнаружился между Серафимой и кружком «детей новой России» (XIII, 216).

Такова Серафима на страницах «Былого и дум». Близкий этому образ возникает и при чтении ее письма, состоящего из трех частей (первая часть письма адресована Наталье Александровне, вторая — Герцену, третья — их сыну). В письме звучит голос человека, горячо тянувшегося своим «развитым сердцем» к людям, человека, легко ранимого, с уязвленным самолюбием, которое сказывается в готовности к самоуничтожению. Слова ее письма: «И голова и без того пустая и глупая» — заставляют вспомнить другое ее высказывание, переданное Герценом: «Видно уж такая глупая и бесталанная и в могилу сойду» (XIII, 223), а также слова, приведенные в «Былом и дум»: «Бог с ней, с Н. А., разлюбила она меня, бедную» (XIII, 223).

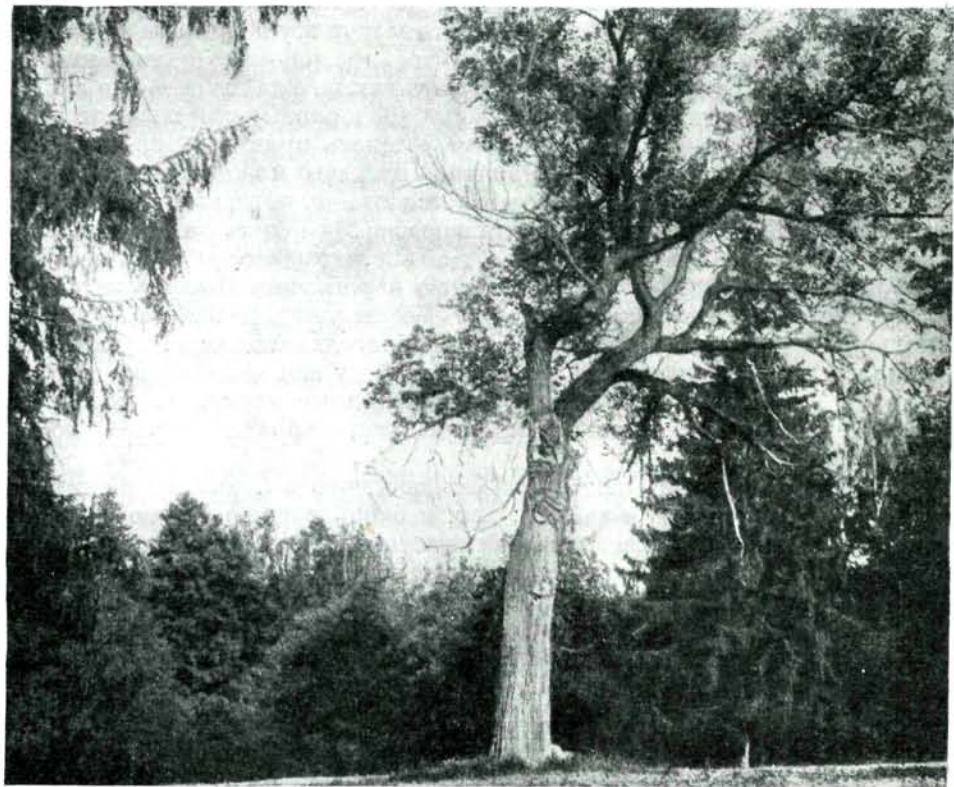
Вместе с тем, следует отметить, что язык письма С. Н. Кетчер, выразительно отражая ее душевный склад, мало чем отличается от языка образованного круга женщин той эпохи и несколько нарушает представление о ее отсталости. Но в нем попадаются и чисто народные выражения.

Непосредственное проявила себя Серафима в письме к Саше. Здесь ее язык живее и своеобразнее. Это письмо, видимо, явилось ответом на два письма Саши: первое было написано им при посылке подарков, второе — значительно позднее. Эта связь про-

стых людей с детьми отмечалась неоднократно в свидетельствах того времени, в частности — самим Герценом в «Былом и думах»; она явственно сказала в письме «Сирки» к «другу Сапе», которому она когда-то сказывала сказки и которого звала теперь гулять не на Елисейских полях, а на родных «соколовских».

И в письме С. Н. Кетчер, и в приписке ее мужа интересно признание, как много утратили московские друзья с отъездом Герцена.

Итак, публикуемое письмо — ценный комментарий к соответствующей главе «Былого и дум», посвященной Кетчеру и его жене. Оно содействует достижению



ПАРК В СОКОЛОВЕ. НА ДАЧЕ В СОКОЛОВЕ ГЕРЦЕН ПРОВЕЛ ЛЕТО 1845 и 1846 гг.

Фотография 1937 г.

Литературный музей, Москва

цели, которую ставил перед собою Герцен, пробуя «спасти <...> от полного забвения» тех, кого «уж теперь едва видно из-за серого тумана, из-за которого только и вырезаются вершины гор и утесов» (XIII, 233). Этими словами Герцен закончил главу, посвященную Н. Х. Кетчеру и его жене.

Письмо С. Н. Кетчер в основном обращено к Н. А. Герцен, поэтому мы печатаем его в ряду писем к ней.

Письмо печатается по подлиннику «пражской коллекции» (ЦГАЛИ, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 226, лл. 22—23).

⟨Москва, 28 января 1849 г.⟩

Старый, первый друг мой, Наталья Александровна, извините меня в том, что я до сих пор не послала вам ни строчки, и не думайте, ради бога, что я вас забыла, потому что мне это было бы очень больно; вы и сами знаете очень хорошо, что такие вещи никогда не забываются, иметь друзей и

потом потерять их — это страшное несчастье. Не знаю, как все это случилось, знать уж так самой природой устроено, чтоб человек испытывал всё: и горькое, и сладкое; на мою долю досталось, кажется, больше горького, да что же делать? Судьба ведь не свой брат, с ней спорить не станешь, что хочет, то и делает, и не рад, да будь готов. Я сколько раз принималась вам писать, да никогда не кончала; мне делалось так грустно, что сердце замирало, и голова, и без того пустая и глупая, становилась еще пустей, и все кончалось одними слезами. Как вспомнишь страстную пятницу и потом последнее время и отчего все это случилось — и станет страшно¹. Я часто гляжу на вашу записку², которую вы оставили Сатину, чтобы передать мне после вашего отъезда; неужели вы в самом деле от души писали эту записку? Не сердитесь на меня, что я сомневаюсь, я все-таки думаю, что вы и до сих пор хоть немного да любите еще нас (это я с радостью видела даже из слов Марьи Федоровны), так разве это правда, что вы писали в записке, что вам хотелось приехать проститься, да вы побоялись, что нам будет неприятно? Да разве можно бояться сделать этим неприятность друзьям? Что касается до нас, поверьте, нам очень хотелось бы забыть все неприятное прошедшего и видеть вас не хорошими знакомыми, а друзьями, как прежде. Дай бог, чтобы это так и было. Будьте здоровы и счастливы, целую и обнимаю вас крепко. Поцелуйте за меня Сашу, Колю и Тату. Виновата, я думаю вы уже догадались, что я насколько не поумнела и потому забыла поблагодарить вас за подарки, которые вы мне прислали: благодарю, но скажу вам откровенно, я променяла бы их на ваш и на Сашин дагерротипные портреты, потому что вещи всегда можно купить — были бы деньги, а хороший портрет достать трудно.

Ну, а вы, добрый Александр Иванович, что вы, как вы поживаете? Вы думаете, что я вас и забыла; нет, я очень хорошо помню последние слова ваши, которые вы мне сказали, прощаясь со мною на Черной Грязи; вы говорили, что дай бог нам встретиться не такими, какими расстанемся. Да, дай бог, чтобы это было так; думаю, это больше зависит от вас. Вы всегда у меня спрашивали: «Сирфовна, а ведь вы когда-то меня любили?» Это было и есть так: я вас любила и люблю до сих пор; в глаза это говорить как-то неловко, за глаза легче. Если бы вы поглядели, как у нас без вас все пусто, мы все сидим, как тараканы в щелях, видимся редко, а Кешка³, если б вы знали, какой стал дрянной; все эти два года был болен, совсем расклеился.

Милый друг Саша, от души благодарю тебя за память обо мне. Письма твои я получила и розан твоей работы и браслет, который я ношу другой год, не снимая с руки. Первому письму твоему я так обрадовалась, что плакала, будто видала тебя самого. Ты еще не забыл, милый друг мой, как видел меня в первый раз у пруда в синем салопчике; помнишь и ты, как ходил есть блины и пироги, и я помню, как вы жили в бабушкином доме⁴, как тогда было весело, как ты любил меня; когда я приходила, ты от радости бегал по всем комнатам на четвереньках, крича: «Мама, Сирка пришла», и начнешь, бывало, приставать, чтобы я сказывала сказки. Теперь ты стал уже больше и умнее и, верно, не станешь слушать глупую сказку про обманщицу лису, а будешь меня самое учить уму да разуму. Я очень рада, что тебе так весело; ты звал меня гулять в Елисейские поля, и рада бы, да нельзя, милый друг мой; как возвратитесь, так мы уж погуляем на полях соколовских⁵. Прощай, до свиданья, будь здоров и весел, целую тебя крепко и Тату и Колю, а коробочки жду — я буду в нее класть дорогие мои вещи.

Приписка Н. Х. Кетчера:

Здравствуйте, друзья, крепко жму вам руку; не сетуйте, что не пишем. Очень знаю, как приятно получить вдали хоть строчку от людей

близких; но что ж писать? Уверять в дружбе? Я знаю, убежден глубоко, что, несмотря на неприятности последнего времени, вы никогда в ней не сомневались. Мы живем все попрежнему, так — со дня на день, более скучно, чем весело; часто вспоминаем о вас и в веселую минуту жалею, что вас нет с нами. Прощайте же, будьте здоровы, поделуйте от меня детей. А Саша, верно, так уж вырос, что в самом деле ему придется, когда возвратится, вместо слушанья сказок, разве лазить со мною по осыпям. Окреп ли он телом?

Января 28 дня 1849 г.

Приписка М. Ф. Корш:

Стинька принесла мне надписать это письмо, и потому я не могла утерпеть, чтобы не пожать вам руки и не попросить расцеловать мою Тату и Сашу. Пожалуйста, пишите — хочется знать, что с вами. Мне что-то это время особенно грустно по вас.

Ваша М. Корш

¹ Возможно, что С. Н. Кетчер вспоминает резкое столкновение ее мужа с Герценом весной 1846 г. (XIII, 224).

² Записка эта, писанная карандашом рукою Н. А. Герцен, хранится в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (Г. — О. М., 5185 8/6):

«От Н. Герценой

Если вы несколько не верите в меня — бросьте это письмо, не читая далее этого слова.

Прощайте, Кетчер!

Прощайте, Силенька!

Мне очень хотелось быть у вас, но я боялась, что мое посещение будет вам неприятно; я и без того притесняла вас тем, что слишком много любила вас, слишком горячо желала вам счастья. Теперь это для вас будет не занятно.

Прощайте! Обнимаю вас обоих. Может быть, до свиданья, а может быть, и нет.

Всей душой вас любящая,

Н. Герцен».

³ *Кешка* — Н. Х. Кетчер.

⁴ *Бабушкин дом* — дом, в котором жила мать Герцена, Луиза Ивановна, и в который он переехал после смерти И. А. Яковлева в апреле 1846 г. (ныне Сивцев Вражек, № 25).

⁵ *Соколовские поля* — Соколово, дачное место под Москвой, в котором Герцен со своими друзьями провел лето 1845 и 1846 гг.

II. ОТКЛИК НА СМЕРТЬ Н. А. ГЕРЦЕН

ПИСЬМО М. Ф. КОРШ К ГЕРЦЕНУ

Мы заканчиваем публикацию материалов для биографии Н. А. Герцен письмом М. Ф. Корш, которым она отзывалась на дошедшее до Москвы известие о кончине Натальи Александровны.

Дата письма определяется на основании письма Грановского к А. В. и Е. К. Станкевичам, в котором он сообщает, что в начале июня <1852 г.> он покинул Москву.

Письмо публикуется по автографу «празжской коллекции» (ЦГАЛИ, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 102, лл. 10—11).

Петербург. <Конец мая — начало июня 1852 г.>

Хотя я желала, но не могла писать вам тотчас по получении горького извещения о кончине Натальи Александровны; мой милый, добрый друг, мне было так грустно и тяжело, что не достало сил говорить с вами. И за что это вдруг столько горя на человека? — Я не умею говорить утешительных слов, да их и приискать трудно в таком несчастии. Желала бы

только иметь возможность крепко пожать вам руку, крепко приласкать вас и поговорить с вами.

Вы давно не порадовали меня ни одной строчкой. Я писала вам много раз и ни на одно письмо не получила ответа. Так что уже думала, что вы меня совсем хотите покинуть, но когда узнала о смерти Натальи Александровны, мне так стало жаль и ее и вас, так почувствовала я, что крепко люблю вас обоих, что мне показалось невозможным, чтобы совсем от меня отшатнулись.

Весть эту я получила в Москве, куда ездила на две недели повидаться с друзьями¹; и мне пришлось объявить об этом Тимоше². Вы можете вообразить, как подействовало на него это известие. Лизе³ мы тогда не смели сказать, но Тимоша, со временем приготовив ее, объявит ей.

Что же намерены вы делать? Куда поедете? Насчет детей вы распорядились как нельзя лучше⁴. Одно бы надо устроить, чтобы вам быть к ним поближе. Воображаю, как горька была для вас эта новая разлука.

Что делает Саша? Мария Каспаровна писала мне, что он очень развился и душевно и телесно. Скоро уж он будет молодым человеком и вашим другом. Поцелуйте его за меня в головку и скажите, что этот поцелуй от Маволеньки, если он еще меня помнит.

Прощайте, мой добрый, мой славный. Порадуйте же нас хоть несколькими строчками. Енюша⁶ и жена его крепко жмут вам руку, нечего и говорить, какое участие принимают они и все другие наши в вашем горе.

¹ В связи с переездом Е. Ф. Корша в Петербург Марья Федоровна также покинула Москву, чтобы не разлучаться с братом и его сыном Федей, своим воспитанником.

² Тимоша — Тимофей Николаевич Грановский.

³ Лиза — Елизавета Богдановна, жена Грановского.

⁴ Герцен после смерти жены временно поручил своих дочерей Тату и Ольгу попечением М. К. Рейхель, а сына Сашу оставил при себе.

⁵ Маволенька — дружеское прозвище М. Ф. Корш.

⁶ Енюша — Евгений Федорович Корш.